



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

LA
838.7
.V96

A 437223

ВОСПОМИНАНІЯ



СТУДЕНЧЕСКАЯ

ЖИЗНЬ



Издание Общества распространения полезныхъ книгъ.

№. *Vospominaniâ o studentcheskoj
жизни*

ВОСПОМИНАНИЯ

О

СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.

В. О. Ключевского, П. М. Обнинскаго,
Д. Н. Свербеева, С. М. Соловьева,
А. И. Кирпичникова, В. А. Гольцева,
Ө. И. Буслаева и др.



МОСКВА, 1899.

Типографія Общества распространения полезныхъ книгъ
Аренд. И. И. Солнцевымъ.
Моховая, противъ манежа, д. кв. Гагарина.

LA
838.7 /
.V96

Дозволено цензурою. Москва, 16 марта 1899 года.

С. М. Соловьевъ, какъ преподаватель.

Изъ студенческихъ воспоминаній В. О. Ключевского.

Сегодня 16-я годовщина смерти С. М. Соловьева *). Многие ли изъ насъ, здѣсь присутствующихъ, помнятъ его, какъ преподавателя? По крайней мѣрѣ, далеко не всѣ. Преподаваніе принадлежитъ къ разряду дѣятельностей, силу которыхъ чувствуютъ только тѣ, на кого обращены онѣ, кто непосредственно испытываетъ на себѣ ихъ дѣйствіе, стороннему трудно растолковать и дать почувствовать впечатлѣніе отъ урока учителя или отъ лекціи профессора. Въ преподавательствѣ много индивидуальнаго, личнаго, что трудно передать и еще труднѣе воспроизвести. Писатель весь переходитъ въ свою книгу, композиторъ въ свои ноты и въ нихъ оба остаются вѣчно живыми. Раскройте книгу, разверните ноты, и кто умѣетъ читать то и другое, передъ тѣмъ воскреснутъ ихъ творцы. Учитель—что

*) Читано въ засѣданіи Историческаго Общества при Московскомъ Университетѣ 4 октября 1895 года, — въ годовщину смерти Т. Н. Грановскаго и С. М. Соловьева.

проповѣдникъ: можно слово въ слово записать проповѣдь, даже урокъ, читатель прочтетъ записанное, но проповѣди и урока не услышитъ.

Но и въ преподаваніи много, даже очень много значить наблюденіе, преданіе, даже подражаніе. Всегда ли знаемъ мы, преподаватели, свои средства, ихъ сравнительную силу и то, какъ, гдѣ и когда ими пользоваться? Въ преподавательствѣ есть своя техника и даже очень сложная. Понятное дѣло: преподавателю прежде всего нужно вниманіе класса или аудиторіи, а въ классѣ и аудиторіи сидятъ существа, мысль которыхъ не ходитъ, а летаетъ и поддается только добровольно. Въ преподаваніи самое важное и трудное дѣло заставить себя слушать, поймать эту непосѣдную птицу, — юношеское вниманіе. Съ удивленіемъ вспоминаешь, какъ и чѣмъ умѣли возбуждать и задерживать это вниманіе иные преподаватели. П. М. Леонтьевъ совсѣмъ не былъ мастеръ говорить. Живо помню его приподнятую надъ каедрой правую съ вилкообразно вытянутыми пальцами руку, которая постоянно надобилась въ подмогу медленно двигавшемуся, усиленно искавшему словъ, какъ будто усталому языку, точно она подпирала тяжелый возъ, готовый скатиться подъ гору. Но, бывало, напряженно слѣдишь за развертывавшейся постепенно тканью его

ясной, спокойной, неторопливой мысли, и вмѣстѣ съ ударомъ звонка предметъ лекціи, какое-нибудь римское учрежденіе, вырѣзывался въ сознаніи съ скульптурной отчетливостью очертаній. Казалось, самъ бы сейчасъ повторилъ всю эту лекцію о предметѣ, о которомъ за 40 минутъ до звонка не имѣлъ понятія. Известно, какъ тяжело слушать чтеніе написанной лекціи. Но когда Ѳ. И. Буслаевъ вступалъ торопливымъ шагомъ на кафедру и развернувъ сложенные, какъ складываютъ прошенія, листы, исписанные крупными и кривыми строками, начиналъ читать своимъ громкимъ, какъ бы нападающимъ голосомъ, о скандинавской Эддѣ или какой-нибудь русской легендѣ, сопровождая чтеніе ударами о кафедру правой руки съ зажатымъ въ ней карандашемъ, биткомъ набитая большая *Словесная*, часъ назадъ только что вскочившая съ холодныхъ постелей гдѣ-нибудь на Козихѣ или Бронной (Буслаевъ читалъ рано по утрамъ первокурсникамъ трехъ факультетовъ),—эта аудиторія едва замѣчала, какъ пролетали 40 урочныхъ минутъ. Не бесполезно знати, какими средствами достигаются такіе преподавательскіе результаты и какими приѣмами, какимъ процессомъ складывается ученическое впечатлѣніе. Въ этомъ отношеніи воспоминаніе объ учителѣ можетъ пригодиться и тому, кто не былъ его ученикомъ.

Я сѣлъ на студенческую скамью въ Московскомъ университетѣ въ пору, не скажу упадка,—объ этомъ грѣшно и подумать,—а въ пору кратковременнаго затишья историческаго преподаванія. Я не засталъ ни Грановскаго, ни Кудрявцева. Единственнымъ преподавателемъ всеобщей исторіи былъ С. В. Ешевскій. В. И. Герье находился еще за границей и мнѣ пришлось его слушать уже по окончаніи курса. Ешевскій былъ превосходный, строгій, но уже угасавшій профессоръ; мы его и похоронили весной 1865 г., при выходѣ нашего курса изъ университета. Онъ читалъ намъ курсы по древней и средней исторіи, съ продолжительными перерывами по болѣзни, а послѣдній годъ, когда стояла на очереди новая исторія, не читалъ совсѣмъ. Мы его очень любили, немного побаивались и съ глубокой скорбью шли за его гробомъ. Сколько помнится, Соловьевъ читалъ на третьемъ курсѣ общій обзоръ исторіи древней Руси, на четвертомъ болѣе подробный курсъ русской исторіи XVIII в. Въ 1863 г., когда я началъ слушать его, это былъ цвѣтушій 42-лѣтній человекъ. Непомню теперь, почему мнѣ не пришлось послушать его ни разу до третьяго курса, — кажется потому, что его лекціи совпадали съ лекціями Ѳ. И. Буслаева и Г. А. Иванова, которыхъ мы не пропускали. На третьемъ курсѣ студентъ уже перестаетъ блуждать по ауди-

торіямъ съ бездоннымъ вниманіемъ и вѣчно раскрытымъ ртомъ, вбирающимъ все, что ни попадаетъ ему питательнаго по пути. Онъ уже становится нѣсколько разборчивъ въ впечатлѣніяхъ и знаніяхъ, начинаетъ понимать удовольствіе „свое сужденіе имѣть“ и даже покритиковать профессора. По аудиторіямъ, театрамъ, засѣданіямъ ученыхъ обществъ онъ уже довольно набрался впечатлѣній, пружина воспримчивости отъ усиленнаго нажима нѣ сколько поослабла и погнулась, и пользуясь этимъ, изъ-подъ нея все съ большимъ напряженіемъ выступаетъ прижатая дотолѣ другая сила, потребность разобраться въ воспринятомъ, задержать и усвоить набѣгающія впечатлѣнія, пропитать ихъ собственнымъ духомъ,—словомъ, онъ начинаетъ чувствовать себя хозяиномъ своего я и въ состояніи уже ухватить себя за свои собственные усы.

Въ моментъ этого перелома начали мы слушать Соловьева. Обыкновенно мы уже смиренно сидѣли по мѣстамъ, когда торжественной, немного раскачивающейся походкой, съ откинутымъ назадъ корпусомъ, вступала въ *Словесную* внизу высокая и полная фигура въ золотыхъ очкахъ, съ необильными бѣлокурыми волосами и круглыми пухлыми чертами лица, безъ бороды и усовъ, которые выросли послѣ. Съ закрытыми глазами, немного раскачиваясь на каедрѣ взадъ и впередъ, не спѣша, низ-

кимъ регистромъ своего немного жирнаго баритона начиналъ онъ говорить свою лекцію и въ продолженіе 40 минутъ рѣдко поднималъ тонъ. Онъ именно говорилъ, а не читалъ, и говорилъ отрывисто, точно рѣзалъ свою мысль тонкими удобопріемлемыми ломтиками, и его было легко записывать, такъ что я, по порученію курса составлявшій его лекціи, какъ борзописецъ, могъ записывать его чтенія слово въ слово безъ всякихъ стенографическихъ приспособленій. Сначала насъ смущали эти вѣчно закрытые глаза на кафедрѣ, и мы даже не вѣрили своему наблюденію, подозрѣвая въ этихъ опущенныхъ рѣсницахъ только особую манеру смотрѣть; но много послѣ на мой вопросъ объ этомъ онъ признался, что дѣйствительно никогда не видѣлъ студента въ своей аудиторіи.

При отрывистомъ произношеніи рѣчь Соловьева не была отрывиста по своему складу, текла ровно и плавно, пространными періодами съ придаточными предложеніями, обильными эпитетами и пояснительными синонимами. Въ ней не было фразъ; казалось, лекторъ говорилъ первыми словами, ему попадавшими. Но нельзя сказать, чтобы онъ говорилъ совсѣмъ просто: въ его импровизаціи постоянно слышалась ораторская струнка, тонъ рѣчи всегда былъ нѣсколько приподнятъ. Эта рѣчь не имѣла металлическаго, стального

блеска, отличавшаго, напрімѣръ, изложеніе Гизо, котораго Соловьевъ глубоко почиталъ, какъ профессора. Чтеніе Соловьева не трогало и не плѣняло, не било ни на чувство, ни на воображеніе; но оно заставляло размышлять. Съ кафедры слышался не профессоръ, читающій въ аудиторіи, а ученый размышляющій вслухъ въ своемъ кабинетѣ. Вслушиваясь въ это, какъ бы сказать, говорящее размышленіе, мы старались ухватиться за нить развиваемыхъ передъ нами мыслей и не замѣчали словъ. Я бы назвалъ такое изложеніе прозрачнымъ. Оттого, вѣроятно, и слушалось такъ легко: лекція Соловьева далеко не была для насъ развлеченіемъ, но мы выходили изъ его аудиторіи безъ чувства утомленія.

Легкое дѣло—тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить—тяжелое дѣло, у кого не дѣлается это само собой, какъ бы фізіологически. Слово—что походка: иной ступаетъ всей своей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на ципочкахъ, а подъ нимъ полъ дрожить. У Соловьева легкость рѣчи происходила отъ ясности мысли, умѣвшей находить себѣ подходящее выраженіе въ словѣ. Гармонія мысли и слова—это очень важный и даже нерѣдко роковой вопросъ для нашего брата преподавателя. Мы иногда портимъ свое дѣло нежеланіемъ подумать,

какъ надо сказать въ данномъ случаѣ, и корень тяжкихъ неудачъ нашихъ—въ неумѣннїи выразить свою мысль, одѣть ее, какъ слѣдуетъ. Иногда бѣдненькую и худенькую мысль облечемъ въ такую пышную форму, что она путается и теряется въ ненужныхъ складкахъ собственной оболочки и до нея трудно добраться, а иногда здоровую, свѣжую мысль выразимъ такъ, что она вянетъ и блекнетъ въ нашемъ выраженїи, какъ цвѣтокъ, попавшій подъ тяжелую жесткую подошву. Во всемъ, гдѣ слово служить посредникомъ между людьми, а въ преподаванїи особенно, неудобно какъ переговорить, такъ и недоговорить. У Соловьева слово было всегда по росту мысли, потому что въ выраженїи своихъ мыслей онъ слѣдовалъ поговоркѣ: сорокъ разъ примѣрь и одинъ разъ отрѣжь. Голосъ, тонъ и складъ рѣчи, манера чтенїя,—вся совокупность преподавательскихъ средствъ и прїемовъ давала понять, что все, что говорилось, было тщательно и давно продумано, взвѣшено и измѣрено, отвѣяно ота всего лишняго, что обыкновенно пристааетъ къ зрѣющей мысли, и получило свою настоящую форму, окончательную отдѣлку. Вотъ почему его мысль чистымъ и полноцѣснымъ зерномъ падала въ умы слушателей.

Гармонїя мысли и слова! Какъ легко произнести эти складныя слова и какъ трудно провести ихъ въ преподаванїи! Думаю, что

возможность этого находится за предѣлами преподавательской техники, нашей дидактики и методики, и требуетъ чего-то большаго, чего-то такого, что требуется всякому человеку, а не преподавателю только. Студенты, какъ извѣстно, обладаютъ особымъ чутьемъ профессорской подготовки: они очень быстро угадываютъ, излагаетъ ли имъ преподаватель продуманныя и провѣренныя знанія, хорошо выдержанныя и устоявшіяся воззрѣнія, или только вчерашнія пріобрѣтенія своего ума, сырыя мысли, если можно такъ выразиться. Слушая Соловьева, мы смутно чувствовали, что съ нами бесѣдуетъ человекъ, много и очень много знающій и подумавшій обо всемъ, о чемъ слѣдуетъ знать и подумать человеку, и всѣ свои передуманныя знанія сложившій въ стройный порядокъ, въ цѣльное міросозерцаніе, чувствовали, что до насъ доносятся только отзвуки большой умственной и нравственной работы, какая когда-то была исполнена надъ самимъ собою этимъ человекомъ и которую должно рано или поздно исполнить надъ собой каждому изъ насъ, если онъ хочетъ стать настоящимъ человекомъ. Этимъ особенно и усиливалось впечатлѣніе лекцій Соловьева: его слова представлялись намъ яркими строками на освѣщенномъ изнутри фонарѣ. Оно и понятно: студенту старшихъ семестровъ уже виднѣется жизненный путь, на

который ему придется вступить по окончаніи учебныхъ годовъ, и онъ уже безъ студенческой беззаботности и самоувѣренности начинаетъ раздумывать, какъ-то вступить на этотъ скользкій путь и какой походкой пойдетъ по нему. Въ этомъ раздумьи онъ уже съ дѣловымъ, не празднымъ любопытствомъ и съ молчаливымъ уваженіемъ присматривается и прислушивается къ тѣмъ изъ старшихъ, которые идутъ по этому пути твердыми прямыми шагами, съ твердымъ и яснымъ взглядомъ на людей и на вещи.

Послѣ, ставъ ближе къ Соловьеву и начавъ готовиться къ профессурѣ подъ его руководствомъ, я получилъ нѣкоторую возможность слѣдить за непрерывной, строго размѣренной и разнообразной работой неутомимаго ума, и я понялъ, какъ вырабатывается и во что обходится эта гармонія мысли и слова.

Чего только онъ не зналъ, не читалъ, чѣмъ не интересовался и о чемъ не думалъ! Онъ внимательно и съ удивительной экономіей досуга слѣдилъ за иностранной литературой по географіи, по всему кругу наукъ историческихъ и политическихъ, какъ и за текущими международными отношеніями. Прочитать дѣльную книжку какого-нибудь французскаго, нѣмецкаго или англійскаго путешественника по Индіи или центральной Африкѣ

было для него наслаждениемъ, которымъ онъ спѣшилъ подѣлиться съ близкими людьми. Я уже не говорю о русской литературѣ, о русскихъ дѣлахъ и отношеніяхъ. Помню, я посѣтилъ его не задолго до смерти, когда приговоръ жизни былъ уже признанъ и исходъ болѣзни опредѣлился. Съ третьяго слова онъ спросилъ меня: а что новенькаго въ литературѣ по нашей части? Давно ничего не читалъ.—Я встрѣчалъ немного такихъ образованныхъ и дѣятельныхъ умовъ, а судьба нерѣдко и незаслуженно дарила меня счастьемъ встрѣчаться съ образованными и мыслящими людьми.—Я не рѣшаюсь сказать, входила ли русская исторія центральной составной частью въ составъ этого цѣльнаго и широкаго міросозерцанія. Я не рѣшаюсь на это потому, что знаю, какъ много мѣста занимали въ выработкѣ этого міросозерцанія общіе вопросы религіи и науки. Я могу только утверждать, что на русскую исторію онъ положилъ всего больше научнаго труда. Но я неговорю объ его Исторіи Россіи, о немъ, какъ объ ученомъ: это вопросъ русской исторіографіи, одна изъ страницъ исторіи русскаго просвѣщенія и такихъ страницъ, на которыхъ съ отрадой будетъ всегда останавливаться и раздумываться мыслящій русскій человѣкъ. Вы позволите мнѣ занять теперь ваше благосклонное вниманіе бесѣдой о профессорскомъ пре-

подаваніи Соловьева, о его университетскомъ курсѣ русской исторіи. Вмѣстѣ съ другими учениками Соловьева я часто докучалъ ему просьбой издать этотъ курсъ въ какой-либо изъ тѣхъ редакцій, въ какихъ онъ излагалъ его изъ году въ годъ съ университетской кафедры, и я до сихъ поръ не могу понять, почему онъ не сдѣлалъ этого, даже неохотно велъ разговоръ объ этомъ. Съ нимъ трудно вообще было завести рѣчь о его сочиненіяхъ, самъ онъ былъ до несправедливости скромнаго объ нихъ мнѣнія и отзываться о нихъ съ похвалою въ его присутствіи значило дѣлать ему непріятность. Ему я говорили объ изданіи курса, только какъ о его профессорской обязанности, даже прибѣгали къ такому изысканному соображенію, что его курсъ вовсе и не принадлежитъ ему одному, не есть его личное дѣло, что это бесѣда профессора со студентами, слѣдовательно совмѣстная работа профессора и его аудиторіи. Онъ называлъ это плохимъ софизмомъ, нестоящимъ и пяточка, и прекращалъ разговоръ объ этомъ. Прибавлю въ поясненіе, что Соловьевъ очень любилъ остроты и при всякомъ удачномъ словцѣ, при немъ сказанномъ, шарилъ въ карманѣ со словами: ахъ, жаль, пяточка не случилось! Конечно, превосходная первая глава XIII тома его Исторіи, содержащая въ себѣ общій обзоръ хода древней

русской исторіи, вмѣстѣ со статьями общаго характера, напечатанными въ посмертномъ изданіи нѣкоторыхъ сочиненій С. М. Соловьева, каковы начало Русской земли, Древняя Россія, Историческія письма и др., даютъ нѣкоторую возможность читателю представить себѣ содержаніе и даже характеръ этого общаго курса. Въ этихъ статьяхъ есть все, что проводилось и развивалось въ курсѣ; но для читателя останутся неуловимыми концепція содержанія и впечатлѣнія изложенія, а въ преподаваніи—это главное, если не все. Соловьевъ давалъ слушателю удивительно цѣльный, стройной нитью проведенный сквозь цѣпь обобщенныхъ фактовъ взглядъ на ходъ русской исторіи, а извѣстно, какое наслажденіе для молодого ума, начинающаго научное изученіе, чувствовать себя въ обладаніи цѣльнымъ взглядомъ на научный предметъ. Въ курсѣ Соловьева эта концепція и это впечатлѣніе были тѣсно связаны съ однимъ приемомъ, которымъ легко злоупотребить, но который въ умѣломъ преподаваніи оказываетъ могущественное образовательное вліяніе на слушателя. Обобщая факты, Соловьевъ вводилъ въ ихъ изложеніе осторожной мозаикой общія историческія идеи, ихъ объяснявшія. Онъ не давалъ слушателю ни одного крупнаго факта, не озаривъ его свѣтомъ этихъ идей. Слушатель чувствовалъ ежеминутно,

что потокъ изображаемой передъ нимъ жизни катится по руслу исторической логики; ни одно явленіе не смущало его мысли своей неожиданностью или случайностью. Въ его глазахъ историческая жизнь не только двигалась, но и размышляла, сама оправдывала свое движеніе. Благодаря этому, курсъ Соловьева, излагая факты мѣстной исторіи, оказывалъ на насъ сильное методическое вліяніе, будилъ и складывалъ историческое мышленіе: мы сознавали, что не только узнаемъ новое, но и понимаемъ узнаваемое, и вмѣстѣ учились, какъ надо понимать, что узнаемъ. Ученическая мысль наша не только пробуждалась, но и формировалась, не чувствуя на себѣ гнета учительскаго авторитета: думалось, какъ будто мы сами додумались до всего этого, что намъ осторожно подсказывалось.

Эти общія идеи, которыми перевивались факты русской исторіи, могутъ показаться элементарными; но ихъ необходимо продумать на университетской скамьѣ, и только тогда онѣ становятся такими элементарными. Съ двухъ сторонъ Соловьевъ освѣщалъ излагаемые имъ историческіе факты: одну изъ нихъ можно назвать прагматическою, другую—моралистическою. Настойчиво говорилъ и повторялъ онъ, гдѣ нужно, о связи явленій, о послѣдовательности историческаго развитія, объ

общихъ его законахъ, о томъ, что называлъ онъ необычнымъ словомъ — *Историчностью*. Вы думаете, легкое дѣло растолковать сидящему на школьной скамьѣ понятіе объ основахъ людскаго общежитія, объ историческомъ процессѣ, о законмѣрности исторической жизни! Я встрѣчалъ взрослыхъ и по-своему умныхъ людей, которымъ никакъ не удавалось усвоить себѣ самую идею историческаго процесса. У Соловьева сравненія, аналогія жизни народовъ съ жизнью отдѣльнаго человѣка, отвлеченные аргументы и наконецъ его столь извѣстная и любимая фраза „естественно и необходимо“, повторявшаяся при всякомъ удобномъ случаѣ, какъ припѣвъ, — все врѣзывало въ сознаніи слушателя эту идею исторической законмѣрности. Съ другой стороны, — да не покажется намъ это страннымъ, — Соловьевъ былъ историкъ-моралистъ: онъ видѣлъ въ явленіяхъ людской жизни руку исторической Немезиды или, приближаясь къ языку древне-русскаго лѣтописца, „знаменіе правды Божіей“. Я не вижу въ этомъ научнаго грѣха: эта моралистика у Соловьева была та же прагматика, только обращенная къ сознанію своею нравственной стороной, та же научная связь причинъ и слѣдствій, только приложенная къ явленіямъ добра и зла, къ категоріямъ преступленія и возмездія. Соловьевъ былъ историкъ-моралистъ

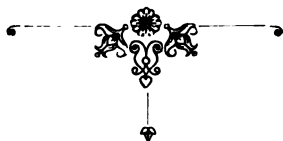
въ томъ простомъ смыслѣ, что не исключать изъ среды своихъ наблюденій мотивовъ и явленій нравственной жизни. Кто: изъ слушателей Соловьева не запомнилъ на всю жизнь этихъ нравственныхъ комментарій, что общество можетъ существовать только при условіи жертвы, когда члены его сознаютъ обязанность жертвовать частнымъ интересомъ интересу общему, что уже первоначальное, естественное общество человѣческое, семейство, основано на жертвѣ, ибо отецъ и мать перестаютъ жить для самихъ себя, что общество тѣмъ крѣпче, чѣмъ яснѣе между его членами сознание, что основа общества есть „жертва“, что „европейское качество всегда торжествовало надъ азіатскимъ количествомъ“ и что это качество состоитъ въ „перевѣсѣ силъ нравственныхъ надъ матеріальными“, что величіе древней Руси заключалось въ сознаніи своихъ несовершенствъ, въ сбереженной ею способности не мириться со зломъ, въ искреннемъ и горячемъ исканіи выхода въ положеніе лучшее посредствомъ просвѣщенія. Все это, повторяю, довольно элементарно, но все это должно быть продумано на студенческой скамьѣ и только на ней можетъ быть продумано, какъ слѣдуетъ.

Въ дѣтствѣ, помню, гдѣ то я видѣлъ старинныя колонны, обвитыя вьющимся растеніемъ. Молодая жизнь бѣжала по холодному мрамору

старины и такъ стройно обвивала его, что мнѣ казалось, будто эти вьющіеся побѣги растутъ изъ самаго мрамора. Когда я вслушивался, какъ Соловьевъ перевивалъ факты исторіи нашей общими историческими идеями, своею прагматикой и моралистикой, мнѣ не разъ вспоминались эти старыя колонны съ обвивающими ихъ побѣгами вьющагося растенія и мнѣ думалось, что эти идеи органически выростали изъ объясняемыхъ ими фактовъ.

Вотъ что я счелъ небезполезнымъ въ день памяти Соловьева припомнить о его университетскомъ преподавательствѣ. Сколько знаю, Соловьевъ никогда не былъ учителемъ средне-учебнаго заведенія; онъ вездѣ, гдѣ преподавалъ, былъ профессоромъ. Но его университетскій курсъ помогаетъ уяснить отношеніе гимназическаго преподаванія исторіи къ университетскому. Мы знаемъ разницу между тѣмъ и другимъ; но у того и другого есть и точка соприкосновенія. Неудобно профессорствовать, читать лекціи въ классѣ; неудобно и сказывать урокъ въ аудиторіи: въ первомъ случаѣ гимназистъ преждевременно забѣгаетъ въ настроеніе студента, во второмъ студентъ огорчается своимъ невольнымъ возвращеніемъ въ положеніе гимназиста. Учитель исторіи рассказываетъ ученикамъ, что было; профессоръ разсуждаетъ со студентами,

что это бывое значило. Но Соловьевъ такъ разсуждалъ со студентами о бывомъ, что они живо представляли себѣ, какъ это происходило; желательно, чтобы учитель такъ разсказывалъ о бывомъ, чтобы ученикамъ хотѣлось разсуждать о томъ, что оно значило. Выражу такъ это отношеніе, не умѣя выразить его удачнѣе.



Студенческіе годы

(изъ воспоминаній П. Н. Обнинскаго).

„Воспитаніе есть дѣло сердца, а не ученыхъ хитросплетеній. Во времена Квинтиліана ученикъ сознавалъ, что обязанъ учителю серьезнымъ взглядомъ на жизнь, а учитель подъ видомъ обученія риторикѣ училъ правиламъ честности и прямотушія. О, великая и святая школа воспитателей юношества! Я сомнѣваюсь, чтобы ее можно было замѣнить приемами нынѣшней педагогики. Жизнь ничто иное какъ тѣнь; этой тѣни сообщаютъ нѣкоторую реальность, когда посвящаютъ себя неуклонному исканію того, что честно, искренно, справедливо и чисто“... (Изъ рѣчи Ренана на могилѣ академика К. Флери).

Въ августѣ 1855 года, раннимъ утромъ ѣхалъ я изъ деревни въ Москву по Варшавскому шоссе (по „аршавкѣ“, какъ говорили тогда ямщики), въ „мальпость“. Въ устроенной между козлами и кузовомъ этого громадскаго дореформеннаго сооруженія крытой колясочкѣ сидѣлъ „кондукторъ“, очень важная особа, обшитая широкими почти камеръ-юнкерскими галунами, въ клеенчатомъ куполообразномъ киверѣ съ неизбѣжнымъ орломъ на лбу и съ перекинутой черезъ плечо на блестящей перевязи трубою. Путешествіе въ такой обстановкѣ совершалъ я каждое лѣто, возвращаясь съ каникулъ. И этотъ „мальпость“ и этотъ великолѣпный „кондукторъ“, и его пронзительная

труба обыкновенно производили на меня самое прискорбное впечатлѣніе: мальпость съ проклятою скоростью мчался по гладкому шоссе въ Москву, въ гимназію, къ началу уроковъ... Съ мелькавшими мимо тѣнистыми рошцами, веселыми лужайками и прозрачными рѣчками уносились назадъ и свѣтлыя воспоминанія проведеннаго въ деревенской плѣнительной и беззаботной нѣгѣ лѣта; а впереди уже рисовались суровыя очертанія зданія гимназіи, суровыя фізіономіи наставниковъ, раннія вставанія, узкій мундиръ съ высочайшимъ воротникомъ вмѣсто просторной парусинной блузы, каменная мостовая, каменные дома и вся та удручающая дѣтское свободолюбіе обстановка, которая такъ безпощадно рѣзко противопологалась только что покинутымъ прелестямъ сельской идилліи. А несносный кондукторъ то и дѣло трубиль, жестоко и пронзительно выводилъ рулады и фіоритуръ, точно издѣвался надъ дѣтскимъ горемъ.

Совсѣмъ не то было въ эту поѣздку. Поля и роши, мимо которыхъ мчался мальпость, не подымали никакихъ воспоминаній; быстрота ѣзды казалась недостаточною, остановки на станціяхъ черезчуръ долгими, а въ то и дѣло раздававшихся изъ передней колясочки трубныхъ звукахъ слышалось что-то необычайно веселое, торжествующее, побѣдоносное: *на этотъ разъ, покончивъ съ гимназіей я ѣхалъ*

въ университетъ! Да, таково было тогда обаяніе этого могучаго слова. Не только самъ по себѣ, въ своей цѣли, уже хорошо сознанный въ послѣднихъ классахъ гимназіи, тогдашній Московскій университетъ манилъ къ себѣ всѣ юношескія симпатіи, но и все, такъ или иначе, хотя бы и очень отдаленно его касавшееся, возбуждало особый восторгъ, окружалось особымъ культомъ. Я помню напр., что, предвкушая великое удовольствіе прицѣпить шпагу на боку, первый символъ государственности, я въ кладовой нашего деревенскаго дома разыскалъ старинный, щегольски расписанный клинокъ и везъ его съ собою, чтобы отдѣлать въ студенческую шпагу. Я помню, затѣмъ, съ какимъ почтительнымъ трепетомъ входилъ я въ первый разъ на университетскій дворъ, хотя тогда еще не красовался на немъ (вѣрнѣе не безобразилъ его) памятникъ Ломоносову. Въ то золотое время университету не нужно было ставить предъ собою памятниковъ для возбужденія почтительныхъ чувствъ молодежи: живое могучее слово блестящей плеяды профессоровъ, нашихъ незабвенныхъ *наставниковъ и руководителей*, неудержимо влекло къ себѣ молодые умы и наполняло святымъ восторгомъ молодые сердца.

Понятно, затѣмъ, съ какимъ чувствомъ входилъ я въ аудиторію на первую лекцію; но объ этомъ послѣ, такъ какъ въ первый же

этотъ день послѣдовалъ неожиданный инцидентъ самаго разочаровывающаго свойства. Въ выданномъ мнѣ изъ гимназіи аттестатѣ между прочими свѣдѣніями „объ успѣхахъ и благоповеденіи“ значилось и непререкаемое право поступленія въ университетъ. Полагаясь на такое „право“, я ѣхалъ съ самыми радужными и стойкими надеждами; по пріѣздѣ тотчасъ же была заказана вся студенческая форма, неоднократно примѣрена передъ веселящимъ взоръ зеркаломъ; всѣ домашніе, прислуга даже, считали меня *студентомъ*, поздравляли и ликовали... И вдругъ, о ужасъ! послѣ первой же лекціи является въ аудиторію какой-то виць-мундиръ, вынимаетъ бумагу и монотоннымъ гнусливымъ голосомъ (и это вслѣдъ за торжествующими звуками кондукторской трубы!) читаетъ списокъ принятыхъ въ число студентовъ университета; списокъ былъ настолько же коротокъ, насколько длинными оказались только что сіявшія радостью фізіономіи злополучныхъ „оглашенныхъ“, не попавшихъ въ него; въ числѣ ихъ оказался и авторъ настоящихъ воспоминаній. Почему, на какихъ основаніяхъ и для какихъ цѣлей разразился надъ нашими юными мечтами такой жестокой сюрпризъ, узнать не пришлось; подобное любопытство въ тѣ времена удовлетворяли неохотно, а даруемые тогда „права“, какъ это видно, особенною устойчивостью не отличались. II

вотъ пришлось разстаться съ синимъ воротникомъ, уже оставившимъ красный рубецъ на шеѣ, снять треуголку и спрятать въ комодъ шпагу съ стариннымъ клинкомъ... На долго-ли—Богъ знаетъ: всѣ тогдашнія распоряженія и мѣропріятія обволакивались обыкновенно какою-то безпричинною таинственностью, совѣщанія велись шепотомъ, „съ уха на ухо“, а на пытливые запросы отринутой молодежи не обращалось уже ни малѣйшаго вниманія. Пришлось вступить въ дѣло отцу. Помню, какъ надѣвалъ онъ всѣ свои боевыя регалии, ѣздилъ хлопотать за меня и еще за нѣсколькихъ знакомыхъ товарищей къ разнымъ „властямъ и особамъ“, изъ которыхъ большинство составляли также боевые люди, и ужъ не знаю, какъ и почему, быть можетъ вслѣдствіе этого совпаденія, но сраженіе было въ концѣ концовъ выиграно. Прошло однако недѣли двѣ-три томительной, подавляющей неизвѣстности, прежде чѣмъ, въ одно ясное осеннее утро, проснувшись, я увидѣлъ на ширмахъ у своей кровати висящій мундиръ, на стулѣ шпагу, а на комодѣ треуголку; веселое солнце играло на золотыхъ украшеніяхъ разложенной аммуниціи, а въ комнату входилъ Кирилычъ и съ серьезнѣйшею миною, какъ будто ничего особеннаго не случилось, возглашалъ: „извольте, сударь, одѣваться—пора на лекцію“. Не помня себя отъ восторга, я

бросился къ отцу; оказалось, что наканунѣ онъ добился, наконецъ, принятія меня и товарищей въ число студентовъ и, по безпредѣльной добротѣ своей, подготовилъ мнѣ этотъ утренній сюрпризъ.

Я привожу всѣ эти мелочныя, пожалуй, подробности, сохраненныя однако памятью въ теченіи цѣлыхъ 43 лѣтъ, чтобы показать, какимъ обаяніемъ пользовался тогда университетъ и съ какимъ правомъ носилъ свое дорогое юношеству прозвище—*Alma Mater!*

Первую лекцію читалъ Т. Н. Грановскій. *Еще въ гимназіи* мы привыкли благоговѣть передъ этимъ именемъ, читали и восхищались его диссертацией „Аббатъ Суггерій“, предвкушая минуту, когда услышимъ его живое слово. Понятно, съ какимъ нетерпѣніемъ аудиторія ждала появленія профессора. Уже сама-по-себѣ она производила импозантное впечатлѣніе: громадная зала была биткомъ набита студентами, задолго до начала поспѣшившими занять ближайшія мѣста; на каедрѣ по обѣимъ боковымъ колонкамъ стояли два студента въ выжидающихъ позахъ съ тетрадками и готовымъ карандашомъ въ рукахъ; всѣ ступеньки, окружавшія кафедру, были заняты; толпа виднѣлась и сзади кафедры, и въ промежуткахъ между скамьями, и на подоконникахъ широкихъ рамъ. Въ залѣ стоялъ оглушительный гулъ молодыхъ голосовъ, мелькали оживленные

лица, чинились перья и карандаши; видно было, что вся эта шумная толпа готовились къ чему-то необычному, праздничному, интересному. Но вотъ все стихло и угомонилось; въ мертвой тишинѣ откуда-то издали послышались тяжелые шаги, и вслѣдъ за тѣмъ Тимофей Николаевичъ своею грузной походкой взошелъ на кафедру. Первое впечатлѣніе не оправдало ожиданій: передъ нами сидѣлъ пожилой господинъ съ круглымъ брюшкомъ, огромною лысиной, красный и толстый, сидѣлъ неподвижно, молчалъ и отдувался (Т. Н. страдалъ одышкой). Началъ онъ лекцію тихо, шепелявымъ голосомъ, присюсюкивая; вся фигура выражала собою не то апатію, не то усталость. Но это впечатлѣніе исчезло очень скоро, съ первыхъ же фразъ, отрывочныхъ, нерѣдко безсвязныхъ (Т. Н. читалъ безъ конспекта), произносимыхъ съ долгими интервалами и тяжелыми вздохами. Передъ аудиторіей, какъ бы застывшей въ глубочайшемъ вниманіи, стали понемногу развертываться одна за другою картины средневѣковой жизни, исполненныя смысла и красоты; цѣлыя фаланги дѣятелей повѣствуемой эпохи живыми вставали передъ ней; чѣмъ дальше говорилъ знаменитый профессоръ, тѣмъ дальше отодвигалась окружающая дѣйствительность; онъ уводилъ свою аудиторію въ сѣдую глубь вѣковъ, воскрешалъ передъ нею давно минувшіе идеалы, оживлялъ въ чарующихъ обра-

захъ давно сошедшіе со сцены типы, а надъ всѣмъ этимъ, *какъ-то незамѣтно, сами собою* вставали въ сердцахъ слушателей великія начала человѣчности, свѣта, правды и добра. Рядомъ съ мастерски-очерченными историческими фактами слушатели воспринимали и тѣ руководящія принципы, тѣ гражданскія чувства, которыя, вложенныя въ молодую душу, вели и охраняли ее потомъ на предстоящемъ жизненномъ пути до старости и даже у этой старости отымали присущіе ей недуги индифферентизма, своекорыстія, черствости и ретроградства.

Намъ, вчерашнимъ гимназистамъ, сразу стало понятнымъ значеніе университетскаго преподаванія; нашъ умъ, наше сердце уже были навсегда отданы ему, а въ мѣстѣ съ тѣмъ зародилась и возможность критическаго, сравнительнаго отношенія къ другимъ лекторамъ, вырабатывалась самостоятельность мысли, складывались убѣжденія и взгляды.

Легко себѣ представить наше горе, весь нашъ ужасъ, когда послѣ нѣсколькихъ такихъ лекцій, по университету пронеслась грозная вѣсть, что Т. Н. внезапно скончался, и вскорѣ за тѣмъ мы, вмѣстѣ съ несмѣтною толпой, уже провожали тѣло дорогаго учителя на Пятницкое кладбище!... Эта преждевременная, неожиданная смерть сообщила особенный характеръ тому впечатлѣнію, какое успѣло уже,

на счастье нашему выпуску, образоваться отъ коротенькаго ряда прослушанныхъ лекцій; оно стало для насъ какъ бы завѣщаніемъ, „свято и нерушимо“ хранимымъ.

Возвращаюсь къ первому дню моей университетской жизни. Раздавшійся звонокъ какъ бы пробудилъ насъ отъ сладкаго, волшебнаго сна. Часъ пролетѣлъ незамѣтно. Профессоръ уже оставилъ аудиторію, а мы сидѣли по своимъ мѣстамъ въ прежнемъ глубокомъ молчаніи; для насъ звучалъ еще его тихій говоръ, на насъ глядѣлъ его грустный, какъ бы обращенный въ вѣковую даль, взоръ, а въ воображеніи пронеслась чарующая вереница только что нарисованныхъ картинъ и образовъ. Пробужденіе приобрѣло еще большую горечь, когда въ аудиторію вошелъ тотъ же вице-мундиръ, который недавно такъ ошеломилъ насъ своею бумагой. На этотъ разъ всѣ вновь принятые были приглашены на завтра явиться къ нему (въ вице-мундирѣ оказался субъ-инспекторъ) въ полной формѣ для осмотра и назиданія. На другой день въ 9 часовъ утра мы, въ числѣ 5—6 новичковъ, уже стояли въ приемной, куда не замедлилъ явиться и субъ-инспекторъ. Начался смотръ; почти всѣ мы оказались не въ порядкѣ: у одного былъ замѣченъ еле пробивающійся пушечъ на верхней губѣ, у другого волосы были слишкомъ длинны, третій не застегнулъ всѣхъ четырехъ

крючковъ на подпиравшемъ шею воротникѣ и т. д. Загѣмъ было показано, какъ носить шляпу, какъ отдавать честь, сбрасывая шинель съ праваго плеча и т. п. артикулы, которые мы должны были неоднократно продѣлывать уже сами; подъ конецъ получили мы строжайшее запрещеніе появляться гдѣ-либо и когда-либо въ фуражкѣ, и аудіенція кончилась.

Для нѣкоторыхъ это послѣднее воспрещеніе оказывалось мѣрою по истинѣ варварскою. Я помню, напримѣръ, студента-математика, покойнаго К. Ю. Давыдова (бывшій директоръ С.-Петербургской консерваторіи и извѣстный віолончелистъ); онъ страдалъ тогда частыми головными болями, и врачи совѣтовали ему держать голову въ теплѣ и остерегаться простуды. Несчастный Давыдовъ обматывалъ себѣ больную голову платкомъ и уже поверхъ его покрывалъ ее установленнымъ „головнымъ уборомъ“. Въ сильные морозы уборъ этотъ становился совсѣмъ нестерпимымъ: подынешь воротникъ, чтобы защитить затылокъ и щеки, онъ подпираетъ шляпу, та лѣзетъ кверху, зябнетъ голова, и положеніе оказывается безвыходнымъ. Нѣкоторые „свободолюбцы“ заказывали у тогдашняго фабриканта Тиля шляпы не съ опущенными углами, какъ требовалось по „установленному образцу“, а прямыя; вслѣдствіе такого приспособленія можно было съ грѣхомъ по поламъ поднять въ случаѣ надоб-

ности воротникъ, да и заостренный уголь шляпы съ кисточкою **на концѣ**, не свѣшиваясь надъ самымъ носомъ, не мѣшаль смотрѣть впередъ. Однако, вскорѣ начальство запретило спасительный фасонъ, и человѣколюбивый изобрѣтатель Тиль уже не рѣшался изготовлять заказы. Забота о неукоснительномъ соблюденіи формы доходила нерѣдко до фанатизма. Помню два совершенно эксцентрическихъ эпизода, одинъ со мною, другой— съ однимъ изъ моихъ товарищей. Сдавши послѣдній экзаменъ съ 1-го курса на 2-й, мы тотчасъ же, „не теряя дорогаго времени“, принялись за укладку—самое веселое дѣло: въ прошедшемъ миновавшая благополучно опасность, въ будущемъ — цѣлыхъ 3 мѣсяца деревенскаго *dolce far niente*; въ числѣ предметовъ, предназначенныхъ оставаться въ Москвѣ оказывалась, конечно, ненавистная треуголка. И вотъ, убравшись и уложившись, я *въ фуражку* отправился сдѣлать на дорогу кое-какія покупки. Какъ нарочно, у Александровскаго сада встрѣчается „субъ“. „Это что такое!? Фамилія? Какого курса?“ Тщетно излагалъ я доводы своей защиты, и только „ради перваго случая“ избѣжалъ карцера, получивъ приказаніе немедленно взять *крытаго* извозчика и *окольными* улицами ѣхать домой. Съ моимъ товарищемъ дѣло вышло еще забавнѣе. Уложившись окончательно, онъ по-

слалъ за лошадьми; явилась „перекладная“, въ которой онъ и помѣстился на чемоданъ и въ фуражкѣ, разумѣется; уже за Москвой-рѣкой, почти у заставы, встрѣчается „субъ“. „Стой! Это что такое?“ и т. д. „Помилуйте, вы видите, я ѣду въ дорогу: вотъ чемоданъ, перекладная, наконецъ“. — „Это все вздоръ: вы, молодой человѣкъ, обязаны были по городу ѣхать въ шляпѣ, а фуражку могли имѣть при себѣ, но надѣть ее слѣдовало только за заставой!“...

Къ счастью, этотъ фронтовой фанатизмъ свирѣпствовалъ недолго. На второмъ курсѣ, съ новымъ царствованіемъ, съ новыми вѣяніями, мы получили и новую форму: фуражка была восстановлена въ своихъ естественныхъ правахъ, и четыре крючка на высококомъ воротникѣ, за которыми такъ ревниво наблюдали „субы“, „упразднены“ вовсе, и наши головы получили „право“ нагибаться за лекціями и не зябнуть на морозѣ; не позабыли равнымъ образомъ и о животахъ, дозволивъ прикрыть ихъ широкими фалдами мундира, взамѣнъ торчавшихъ хвостиковъ сзади и потѣшныхъ „бантовъ“ спереди.

Одновременно съ исчезновеніемъ остроконечной треуголки, высокога воротника и узенькихъ фалдочекъ отошла въ область исторіи и „шагистика“, которой усердно обучали студентовъ всѣхъ четырехъ курсовъ. Последняя

отмѣна была особенно привѣтствуема нами, и никому изъ насъ не приходило тогда въ голову, конечно, что настанетъ время, когда въ *печатномъ* органѣ (а печать хранила для насъ еще всю дѣвственную авторитетность своего серьезнаго значенія) отыщется публицистъ, взывающій къ возсозданію сего упраздненнаго института! „Шагистика“ эта не столько досаждала намъ своими упражненіями, какъ тѣмъ нравственнымъ гнетомъ, который невольно чувствовался каждымъ гражданиномъ-студентомъ, носителемъ шпаги и соотвѣтствующихъ сему праву идей, когда этотъ „гражданинъ“ съ вытянутыми по швамъ руками шагаль, изображая гуся, подъ выбиваемый ладонями командира-бурбона тактъ: „разъ-два! правой-лѣвой, правой-лѣвой!“ На ученье являлся иногда и попечитель, любитель и знатокъ дѣла; какъ теперь помню его озабоченную фізіономію съ щетинистыми усами и бровями, которыми онъ умѣлъ какъ-то очень страшно шевелить, его внушительно вздрагивающія на плечахъ жирныя эполеты и побрякивающія шпоры; съ средоточеннымъ вниманіемъ обходилъ онъ нашъ строй, выправлялъ груди, училъ „равненію“ и добродушно пояснялъ студентамъ, что если онъ и не вполне компетентенъ для нихъ въ другихъ отношеніяхъ, за то фронтъ — его дѣло, его наука, и въ немъ онъ уже полный хозяинъ. Подобное

„откровеніе“ не могло, конечно, не быть принято студентами къ надлежащему свѣдѣнію. Все это, рядомъ съ рассказанными уже мною распоряженіями и мѣропріятіями начальства, мало-по-мало создавало въ молодыхъ умахъ презрительное, саркастическое отношеніе къ официальной власти, являвшейся предъ нами, слушателями Грановскаго, въ такихъ типически-комичныхъ образчикахъ. Результатъ, такимъ образомъ, получался діаметрально противоположный тому, котораго думали добиться эти типическіе представители, а университетъ, *тогдашній университетъ*, весь поглощенный лекціями, кружками и лишь изрѣдка выходившій въ жизнь для того только, чтобы повеселиться или напроказничать, не зналъ и знать не могъ иныхъ образцовъ; по нимъ судилъ онъ о господствовавшемъ режимѣ и, какъ это свойственно молодежи, дѣлалъ самыя смѣлыя, самыя огульныя обобщенія.

Были и профессора, безсознательно работавшіе въ руку такому настроенію. Государственное право читалъ намъ профессоръ О — ій. Его политическое міровоззрѣніе совершенно совпадало, (чтобы долго не искать подходящей аналогіи), ну, хоть съ передовицами нѣкоторыхъ современныхъ публицистовъ, не смотря на слишкомъ 30 лѣтъ, отдалившихъ перваго отъ вторыхъ. Былъ ли то даръ предвидѣнія, или „заочнаго внушенія“, наблюдается ли нынѣ

даръ заимствованія — рѣшать не въ задачѣ моихъ воспоминаній; тѣмъ не менѣе, однако, за чтеніемъ этихъ „передовицъ“ невольно встаетъ въ моей памяти архаическая фигура почтеннаго профессора въ свѣтло-голубомъ вицъ-мундирѣ допотопнаго покроя и съ высокимъ галстукомъ на пружинахъ. На этомъ устойчивомъ постаментѣ вертѣлась то вправо, то влево плѣшивая, какъ ладонь, и красная, какъ кумачъ, голова съ сердито-глумливой фізіономіей, а съ кафедры неистово раздавались быстрымъ говоркомъ самая безшабашная хула, самыя отчаянныя проклятія всему „западному“, всему человѣческому, всему (какъ это ни дико сказать въ данномъ случаѣ) научному. Особенною ненавистью профессора пользовались несчастныя Франція и Америка; авторитеты, великія историческія имена, великія завоеванія въ области мысли — все это безпощадно топталось ногами и разсыпалось, какъ это думалъ ораторъ, въ прахъ. Молодой умъ крайне склоненъ къ ассимиляціи впечатлѣній, крайне податливъ смѣху и крайне развязенъ въ выводахъ: государствѣдѣніе слилось въ нашемъ представленіи и слилось неразрывно съ потѣшною фігурою этого профессора, съ его допотопнымъ вицъ-мундиромъ и такими же взглядами. Отсюда понятно холодное отношеніе къ предмету преподаванія, къ этимъ такъ неуклюже проводимымъ взгля-

дамъ, отношеніе, давшее для многихъ толчекъ къ крайнимъ шагамъ въ противоположную сторону.

Молодые пытливые умы тѣмъ не менѣе продолжали работу, и если каеэдра не отвѣчала невольнo возникавшимъ при этомъ запросамъ, то приходилось искать отвѣтовъ на сторонѣ. Находили ихъ въ литографированныхъ брошюрахъ, ходившихъ по рукамъ; читались эти брошюры и велись дебаты по трактуемымъ ими сюжетамъ въ отдѣльныхъ кружкахъ, по вечерамъ собиравшихся то у одного, то у другаго. Здѣсь прежде всего необходимо замѣтить: 1) что большинство этихъ брошюръ, составлявшихъ во времена оны запретный плодъ, сдѣлалось въ послѣдствіи достояніемъ общей печати и теперь почти позабыто и 2) что руководящею цѣлью кружковъ было *исключительно* умственное развитіе, уясненіе вопросовъ финансоваго, юридическаго и соціального порядка, выработка взглядовъ и направленій. О какихъ-либо практическихъ, реформаторскихъ поползновеніяхъ студенты того времени и не помышляли; университетъ стоялъ въ своихъ естественныхъ границахъ, жилъ своею собственною жизнью и на улицу не выходилъ.

Цельзя не засвидѣтельствовать, что эти кружковые чтенія и дебаты, длившіеся зачастую до разсвѣта, за самоваромъ и въ клу-

Бахъ табачнаго дыма, много способствовали усвоенію сути университетскихъ лекцій; они превосходно дрессировали неопытную мысль, то и дѣло заставляя ее схватываться съ самыми противоположными доводами и комбинировать самыя непримиримыя противорѣчія. Правда, что подъ часъ она совершенно изнемогала въ несносной борьбѣ съ собственными сомнѣніями, уносимыми съ поля битвы хотя бы и побѣдителями; но, быть можетъ, благодаря именно этому „сильно-дѣйствующему средству“, мы выучились думать самостоятельно, сознательно и критически относиться къ тому, что получалось извнѣ, записывалось въ умственномъ приходѣ, или показывалось въ расходѣ; а усердно, сообща поддерживаемый балансъ предотвращалъ дефициты.

Съ другой стороны, только благодаря этимъ нашимъ собраніямъ, возможно было пополнить широкіе пробѣлы тогдашняго гимназическаго курса, пробѣлы, которыхъ теперь нельзя себѣ и представить и которые не могли конечно, быть пополнены университетскими лекціями, едва успѣвавшими къ курсовому сроку ознакомить слушателей съ ничтожною частью читаемаго предмета. Но вотъ чѣмъ, благосклонный читатель, мы всего болѣе были обязаны этимъ кружковымъ вечерамъ: они замѣняли для насъ карты, биліарды, трактиры; о попойкахъ и кутежахъ, помимо всякихъ

принципіальныхъ соображеній, просто некогда было и подумать. Для развлеченія мы довольствовались студенческими пѣснями хоромъ или подъ акомпаниментъ фортепiano: „G'rad, aus dem Wirthshaus komm ich heraus“, затыгиваль запѣвала, „Strasse, wie siehst du so wunderlich aus!“ подхватываль хоръ. Или „S'gibt kein schöneres Leben, als Studenten Leben, wie es Bacchus und Gambrinus schuf“, на изящный, ласкающій и задушевный мотивъ извѣстнаго Веберовскаго вальса „La dernière pensée de Weber“. И теперь, чуть заслышу я эти граціозные звуки,—эти, исполненные безконечнаго блаженства вздохи, вылетающіе изъ счастливой груди отъ избытка жизни и радости, чтобы, переплетаясь золотыми грѣзами безмятежной юности, снова вернуться къ первоначальной темѣ,—чуть услышу я эти звуки, какъ передо мною во всей своей реальности изъ далекаго и милаго прошлаго встаетъ былая картина: растворенное окно, въ которое вмѣстѣ съ ароматомъ только-что распустившейся сирени льются первые лучи показавшагося въ утреннемъ туманѣ изъ-за низенькой крыши, что напротивъ, солнца; маленькая комнатка биткомъ набитая народомъ, безъ сюртуковъ, въ разстегнутыхъ жилетахъ, съ оживленными, раскраснѣвшими лицами, стройный хоръ молодыхъ голосовъ, столикъ, заваленный книга-

ми и тетрадами послѣдняго экзамена съ гирляндю изъ опустошенныхъ чайныхъ стакановъ вокругъ, полъ съ шуршащими подъ ногами, точно осенніе листья, окурками и „рѣчи, рѣчи безъ конца“. „S'gibt kein schöneres Leben, als Studenten Leben“!.. и пѣлось это съ глубочайшимъ сознаниемъ безусловной вѣрности такого тезиса, хотя, къ чести нашего кружка, слѣдуетъ замѣтить, что ни Бахусъ, ни Гамбринусъ особенными симпатіями въ немъ не пользовались и, если фигурировали кое-когда на нашихъ собраніяхъ, то скорѣе, какъ неизбѣжный ритуаль, съ жженкою, варимою непременно на двухъ перекрещенныхъ шпагахъ, съ традиціонными тостами, спичами, веселыми анекдотами и съ возвращеніемъ по домамъ партіями, отъ которыхъ, не буду грѣха таить, почтительно сторонились прохожіе. Но повторяю, это было рѣдкимъ исключеніемъ, вызываемымъ причинами, такъ сказать, внѣ насъ стоявшими, Татьянинимъ днемъ, напримѣръ, окончаніемъ экзамена, чьими нибудь именинами и т. п.; да и какъ *студенту* обойтись безъ *коммерша!*...

На благодатной почвѣ такого, можно сказать, взаимнаго обученія, завязывалась дружба, не разрывная и до сихъ поръ, созидался духъ товарищества, выравнивались характеры, подготовлялась общность альтруистическихъ интересовъ. Противъ кружковъ было писано

и говорено много; —знаю, но съ удовольствіемъ вспоминаешь эту старину и съ грустью озираешься вокругъ, не находя теперъ ничего подобнаго. Быть можетъ, это условно или субъективно; но таково ужъ всякое „воспоминаніе“ юности.

Я засталъ, вѣроятно, послѣдніе дни подобнаго кружковаго университетскаго быта. Но, сколько можно судить объ этой, никѣмъ почему-то не разработанной, но крайне интересной темѣ, по скуднымъ, сохраненнымъ печатью, или изустнымъ преданіямъ, въ прежнія времена кружковое устройство получало довольно широкое развитіе. Задачи и стимулы обычая, вѣроятно, были тѣ же, что и намѣченныя выше; по крайней мѣрѣ я помню, что инициатива принадлежала не намъ: мы застали нѣчто готовое и были лишь продолжателями.

Позднѣе, въ Берлинѣ, я встрѣтилъ точно такой же кружокъ, составленный Русскими слушателями и студентами тамошняго университета, съ тѣми же обычаями, задачами и обстановкой, а еще того позднѣе наблюдалъ тождественное учрежденіе, уже не въ университетской сферѣ и при совершенно иной обстановкѣ, хотя учредителями во всѣхъ трехъ случаяхъ являлись все тѣ же студенты; но объ этомъ—въ слѣдующей главѣ.

Великимъ подспорьемъ оказывался кружокъ и въ наступающемъ каждую весну томитель-

номъ дѣлѣ приготовленія къ экзаменамъ. Тутъ къ нему примыкали и тѣ одиночки, которые по тѣмъ или инымъ причинамъ не участвовали въ корпораціи: въ кружкѣ всегда имѣлся полный курсъ лекцій, записываніе и составленіе которыхъ распредѣлялось между членами въ годовомъ обиходѣ. Всякій избиралъ себѣ предметъ, которому наиболѣе сочувствовалъ. Самый процессъ подготовки тогда былъ очень тяжелъ: промежутки между экзаменами были короткіе, весна съ своими чарами мѣшала сосредоточиться, тянуло за городъ, на рѣку, въ лѣсъ; уступишь искушенію, и потомъ просиживай ночи на пролетъ, а тогда мы превращались уже въ истыхъ факировъ: чтобы одолѣть сонъ, садились на голомъ полу, вспрыскивали другъ друга водой, или поглощали громадными порціями черной кофе, а голосъ очереднаго чтеца такъ сладко убаюкивалъ... Подъ конецъ экзамена всѣ получали невозможнѣйшія фізіономіи и еле держались на ногахъ. Не будь спасительнаго кружка, успѣшная подготовка явилась бы дѣломъ невозможнымъ.

Очень скоро послѣ своего выхода изъ университета я уже слышалъ отъ преемственнаго студенческаго поколѣнія, что ничего подобнаго они не знаютъ; многіе сокрушались, большинство же относилось совершенно индифферентно. Впослѣдствіи снова заговорили о

кружкахъ, но уже тутъ вся аналогія исчерпывалась однимъ названіемъ: то были кружки или черезчуръ веселые, или черезчуръ *серьезные*, къ университетскимъ задачамъ никакого отношенія не имѣли и поэтому оказывались продуктомъ внѣшнихъ, враждебныхъ имъ потребностей. О такихъ кружкахъ, какъ факторахъ саморазвитія, воспособляющихъ университетскому образованію, никому, конечно, не придетъ въ голову и говорить: ни органической, ни даже хронологической связи съ предыдущими они не имѣли и имѣть не могли.

Заговоривъ о кружкахъ этого послѣдняго типа, не могу не упомянуть о крайне поучительномъ явленіи, замѣченномъ вѣроятно и другими моими сверстниками по эпохѣ. Вдаваться въ объясненіе его причинъ, или дѣлать какія либо обобщенія еще рано, да при томъ это дѣло бытописателя, а я лишь вспоминаю былое, ставлю сырой матеріалъ—не больше. Между нравственными обликами первой и второй половины изъ моихъ четырехъ университетскихъ годовъ легло громадное различіе, дѣлая пропасть. Входя въ университетъ, я засталъ въ немъ суровые, крутые порядки—отпечатокъ приснопамятной эпохи. Сдавленная высокимъ воротникомъ шея, провѣтриваемая голова и „руки по швамъ“ служили лишь внѣшними, наглядными символами того внутренняго духа, которымъ было пронизано до самыхъ

стѣнъ, казалось, все, стоявшее надъ студентами или около нихъ. Говорили шопотомъ, ходили на ципочкахъ, чувствовалось холодное вѣяніе силы, желѣзной, страшной, непреклонной. Съ особою алчностью расхватывались съ рукъ на руки истрепанные литографированные листки, развертывавшіе передъ запуганной аудиторіей инныя перспективы, звавшіе на борьбу съ этой силой, указывавшіе ея слабыя, уязвимыя мѣста. Листки эти зачитывались „въ засосъ“, какъ говорится, и прятались „за десятью замками и девятью печатями“. Такъ длилось годъ. Затѣмъ, студенты почувствовали, какъ вмѣстѣ съ прежней удручавшей молодые члены формой сваливалось съ ихъ плечъ нѣчто еще болѣе тяжкое... Радостная вѣсть грядущаго освобожденія крестьянъ уже носилась надъ университетомъ. Люди, о которыхъ шепотомъ говорилось и украдкой читалось въ тѣхъ запретныхъ листкахъ, возвращались изъ Сибири; нѣкоторые оказались даже призванными въ только что формирующіеся комитеты „по устройству сельскаго быта“; профессора, еще недавно словословившіе, или хулу изрыгавшіе, перемѣняли фронтъ; съ кафедръ велись инныя рѣчи... Все вокругъ зажило, заликовало, обновилось; наступалъ канунъ „Свѣтлаго праздника“, и свободнѣе задышала молодая грудь.

И что-же? Эти, вчера еще съ лихорадоч-

ною жадностью читавшіеся листки сразу потеряли все свое обаяніе, весь свой заманчивый аромат запретнаго плода; они исчезли какъ-то сами собой; прекратились и дебаты.
Начиналась жизнь!

Каждый волею, конечно, выводитъ изъ этого явленія какія угодно заключенія; я же заношу его въ свои воспоминанія, какъ наблюдаемый фактъ, и такой фактъ, значеніе котораго не исчерпывается описываемою современною ему эпохою.

Студенческіе кружки наши, кромѣ всего этого, путемъ общаго ознакомленія съ философскими и общечеловѣческими принципами, совершенно упразднили для всѣхъ насъ значеніе сословнаго начала и навсегда сокрушили сословные предрасудки. Ни принадлежность къ тому или иному сословію, ни имущественное положеніе никогда не обуславливали собою тотъ или иной составъ кружка; въ каждомъ изъ нихъ можно было наблюдать полнѣйшее смѣшеніе въ подобныхъ группировкахъ. Совершенно не такъ складывался студенческой бытъ ранѣе, въ тридцатыхъ годахъ,—какъ это видно по воспоминаніямъ Буслаева въ „Вѣстникъ Европы“, — когда сословныя перегородки, богатство и бѣдность такъ рѣзко разъединяли университетскія группы. Совершенно не такимъ является и современный университетъ, обмірщившійся,

такъ сказать, чуть не до полной безличности. Чрезвычайно любопытно было бы, замѣчу мимоходомъ, прослѣдить по имѣющимся уже воспоминаніямъ различныхъ эпохъ въ жизни нашихъ университетовъ эту смѣну настроеній въ историко-физиологической ихъ эволюціи, вывести законъ такихъ чередованій, опредѣлить взаимодѣйствія окружающей жизни на университетъ и обратно и выяснитъ такимъ образомъ *жизненное значеніе* нашей высшей школы. Углубляясь въ свои собственные воспоминанія, я могу лишь ясно сознать громадное вліяніе Университета на жизнь; въ обратномъ смыслѣ, степень вліянія представляется мнѣ въ довольно смутныхъ очертаніяхъ, быть можетъ отъ того, что вспоминаемая мною эпоха является въ этомъ отношеніи съ необычайно-глубокимъ различіемъ между тѣми идеалами, которые жили въ стѣнахъ университета, и тѣми, какіе наблюдались за ними, — различіемъ, достигшимъ противуположенія и почти внезапно исчезнувшимъ со второй половины университетскаго курса и, вслѣдствіе того, сообщившимъ моему поколѣнію совершенно исключительный характеръ, невозможный для какого либо обобщенія въ цѣли даннаго изслѣдованія.

Мы не имѣемъ пока такого любопытнаго изслѣдованія; но уже и теперь возможно намѣтить въ жизни Московскаго, по крайней

мѣрѣ, университета нѣсколько другъ друга смѣняющихъ и очень явственно обособленныхъ культурныхъ цикловъ. До 30-хъ годовъ университетъ еще мало разнится отъ современнаго типа средней школы; съ 30 до 50-хъ онъ мало-по-малу начинаетъ выдѣляться изъ окружающаго міра, уходитъ въ себя и ко второй половинѣ этого періода представляетъ собою какъ бы опальное убѣжище, куда стекаются отовсюду гонимые идеалы, спасаясь отъ чуждаго имъ міра за его высокими стѣнами, концентрируются тамъ и потому съ особенною интенсивностью разрѣшаются силами, сначала непроизводительными, выпуская въ жизнь людей ей пока „лишнихъ“, зафѣдненныхъ средою, какъ говорилось тогда, но затѣмъ, къ началу слѣдующаго цикла 60-хъ годовъ, поставляютъ дѣятелей на всѣ реформы этой эпохи и отзываются на всѣ ея требованія. Это здоровое общеніе университета съ жизнью скоро и круто, однако, поворачиваетъ направленіе отъ положительнаго къ отрицательному: наука забывается ради „политики“; жизнь студента, дотолѣ замкнутая, получаетъ лихорадочное теченіе въ сходкахъ, протестахъ, адресахъ и уличныхъ потасовкахъ. Лихорадка, впрочемъ, также быстро затихаетъ, и современный университетъ выпускаетъ уже людей „умѣренности и аккуратности“, „дѣльцевъ“ и „борцевъ“ — не за идею, однако, а просто

за собственное „существованіе“. Въ этихъ внезапныхъ смѣнахъ, въ этихъ порывистыхъ скачкахъ изъ одной нежелательной крайности въ другую, мы видимъ тѣ волны „моря житейскаго“, которыя свободно хлещутъ черезъ стѣны университета, и, подобно желѣзнодорожному, размываютъ пути его: локомотивъ исправленъ, рельсы цѣлы, но полотно подмыто; вмѣсто дотошн. ровнаго хода, поѣздъ идетъ толчками и, если не терпитъ крушенія, то лишь благодаря плоскости мѣстоположенія. Университетъ долженъ ставить принципы, а жизнь—отвѣчать ихъ воплощенію. Описываемая мною эпоха *въ этомъ значеніи своемъ* является кульминаціоннымъ пунктомъ въ изложенныхъ эволюціонныхъ смѣнахъ. Возвратимся же къ ней съ своимъ прерваннымъ рассказомъ.

По смерти Т. Н. Грановскаго осиротѣвшія студенческія симпатіи всецѣло были перенесены на П. Н. Кудрявцева, и безъ того пользовавшагося уже громадн. обаяніемъ въ нашей средѣ. Онъ читалъ намъ ту же исторію, только древнѣйшій періодъ ея. Все, уже сказанное о Т. Н., можно повторить и по отношенію къ его глубокосимпатичному преемнику: та же художественная обработка слова, тотъ же благородный полетъ, широта и жизненность мысли. Разница заключалась лишь въ томъ, что если у Грановскаго вы-

пуклѣ выдѣлялся для слушателя гражданскій элементъ, то въ изложеніи Кудрявцева преобладалъ эстетическій; особенно мастерскими выходили у него пластическія описанія памятниковъ древняго міра.

Разъ испуганные неожиданною утратою, мы боялись и за Петра Николаевича. Онъ уже тогда имѣлъ видъ крайне-болѣзненного, хилаго, санитарно-неблагонадежнаго челоуѣка; худой, какъ скелетъ, съ матово-смуглымъ, безкровнымъ лицомъ, съ тусклымъ взоромъ, грустнымъ и задумчивымъ, какъ у Т. Н., съ ввалившеюся грудью и едва слышнымъ, глухимъ, точно замогильнымъ голосомъ, онъ, такую наружностью, голосомъ въ особенности, чрезвычайно гармонировалъ съ читаемымъ предметомъ: даже профиль его напоминалъ Египетскую мумію. Но всѣ эти археологическія особенности нисколько не лишали его фізіономіи отпечатка трогательной доброты, тонкаго ума и изящнаго благородства; чѣмъ-то необыкновенно-чистымъ, дѣтски наивнымъ, чѣмъ-то „не отъ міра сего“ вѣяло отъ нея.

Съ меньшей яркостью выдѣляется въ моихъ студенческихъ воспоминаніяхъ и типичная маленькая фигурка Н. И. Крылова, поднимающагося тихимъ, методически-размѣрнымъ шагомъ по высокой, вьющейся вокругъ стѣны, лѣстницѣ въ верхнюю аудиторію, съ склоненною на бокъ головкою и непремѣнно со шля-

пой въ согнутой локтемъ рукѣ. Занявъ свое мѣсто на кафедрѣ, Никита Ивановичъ неизмѣнно клалъ съ одного ея боку красный платокъ, съ другого табакерку, внушительно откашливался и тихимъ шопотомъ начиналъ лекцію всегда такими словами: „въ прошедшій разъ, господа, мы остановились на“... и послѣ такого вступленія постепенно возвышалъ голосъ, который къ концу лекціи уже гремѣлъ на всю аудиторію. Для чего требовалось такое *crescendo* — неизвѣстно, но соблюдалось оно каждый разъ не укоснительно. Иногда послѣ словъ „мы остановились на“... Крыловъ внезапно обращался къ кому нибудь изъ студентовъ, дѣлалъ угрожающую мину и спрашивалъ: „а? на чемъ-бишь? а? Обнинскій!.. Не помнишь?“ (Н. П. любилъ иногда обращаться къ намъ на „ты“). „Только смѣяться умѣете на лекціи“... А не смѣяться было не возможно; не рѣдко вся аудиторія грохотала раскатистымъ, неудержимымъ хохотомъ отъ выражений, сопоставленій, жестовъ и мимики, которыми Н. П. щедро уснащалъ свое изложеніе. Въ такія веселыя минуты Н. П. обыкновенно приостанавливалъ чтеніе и, когда хохоть стихалъ, продолжалъ съ серьезнѣйшей миной и совершенно-спокойнымъ голосомъ свою начатую и прерванную фразу. Н. П., кромѣ блестящаго таланта по существу своего предмета, обладалъ и замѣчательнымъ ко-

мическимъ даромъ. Его мѣткій, сжатый, необыкновенно-образный языкъ недовольствовался словомъ: ему необходимыми были еще и тѣлодвиженія. Онъ вертѣлся на своемъ креслѣ, упираясь въ ручки, ерзалъ имъ по каедрѣ, рискуя слетѣть внизъ, стучалъ по пюпитру, комкалъ свой красный платокъ, а разъ, объясняя символизацію проявленія права собственности посредствомъ „наложенія руки“, такъ размахнулся и треснулъ по своей табакеркѣ, съ крикомъ „моя вещь!“ что та кубаремъ покатила на полъ и завертѣлась по паркету. Студенты бросились ее догонять; Н. И. спокойно выждалъ возстановленія порядка и прежнимъ ровнымъ голосомъ продолжалъ лекцію. Благодаря подобнымъ украшеніямъ и дивертисментамъ, сухой, отвлеченный, такъ далекій отъ дѣйствительности для нашей юной, неумѣлой концепціи предметъ слушался съ глубочайшимъ, постоянно-освѣжаемымъ вниманіемъ; основные тезисы и правовыя нормы врѣзывались въ памяти до того, что, напр., мнѣ, много лѣтъ спустя, въ должности мирового судьи, помогали разбираться въ юридическихъ хитросплетеніяхъ, обыкновенно сопровождавшихъ правовыя столкновения въ крестьянскомъ быту. Такимъ образомъ, въ ловкой, блестящей, одушевленной интерпретаціи даровитаго профессора Римское право на долго хранило для слушателей свое преж-

нее значеніе. Какъ классики для писателя, такъ Римское право для юриста получало изъ его рукъ значеніе той умственной гимнастики, послѣ которой съ легкостью исполняются безконечно-разнообразные приемы, вызываемые развертывающимися въ той или иной профессіи жизненными запросами; благодаря таланту профессора, они не заставляли насъ въ рас-
плохъ и помогали благополучно управляться съ любимъ экспромптомъ.

Дорогія тѣни моихъ незабвенныхъ учителей! Чѣмъ, чѣмъ могу я отплатить за все, воспринятое отъ васъ? Мужественные проводники правды, свѣта и добра, самодержавные властелины думъ и сердець горячо преданнаго студенчества! Благодаря вамъ, воплотившимъ идеаль, взятый эпитафомъ къ этой главѣ, оно зоветъ тотъ университетъ, въ которомъ такъ честно работали вы на пользу родины, зоветъ до сихъ поръ, зоветъ сознательно и любовно—*своею „Alma Mater“*. Подъ ея роднымъ кровомъ тогдашній студентъ не чувствовалъ себя чужимъ, одинокимъ; онъ не зналъ разобщенія, не замѣчалъ розни, ни надъ собою, ни вокругъ себя: общіе, университетскіе (въ самомъ строгомъ значеніи слова) интересы, „общинное пользованіе“ въ кружкахъ его „угодьями“, общія симпатіи. Спасительный девизъ „*viribus unitis*“ тогдашній студентъ уносилъ съ собою и покидая университетъ.

Онъ не зналъ оправданія — „одинъ въ полѣ не воинъ“, а вѣрилъ, *вѣрилъ по опыту* въ то, что „на людяхъ и смерть красна“. Силу, любовь и отвагу несъ онъ съ собою въ жизнь, и сила эта направлялась и регулировалась *тѣмъ*, о чемъ онъ съ восхищеннымъ вниманіемъ слушалъ нѣкогда съ кафедры. Какъ бы нарочно, счастливая судьба готовила ему на этотъ разъ дѣло, которому прежде всего надобились такія рыцарскія свойства, и Московскій университетъ можетъ съ полноправною увѣренностью занести въ свои лѣтописи, что ему главнымъ образомъ обязана страна тѣми качествами дѣятельности мировыхъ посредниковъ „перваго призыва“, о которыхъ такъ часто, съ такимъ непререкаемымъ основаніемъ вспоминаетъ текущая современность, которыхъ ищутъ вокругъ и не находятъ, которыя искусственно стараются воссоздать, но все усилія разлетаются дымомъ!.. Сомкнулись вѣщавшія нѣкогда уста, унеслись въ небо, къ себѣ, духотворившіе дѣло идеалы, и лишь въ воспоминающемъ быломъ надгробномъ словѣ отдыхаетъ современная мысль...

Сравнивая студенчество воспоминаемыхъ мною годовъ съ современнымъ, я поражаюсь тѣмъ кореннымъ различіемъ, какое бросается въ глаза чуть ли не на всѣхъ точкахъ этой параллели. Все—жизнь, міровоззрѣнія, интересы, вкусы и антипатіи, бытовая обстановка

и т. д., вплоть до внѣшняго облика и привычекъ, было совершенно иное, нежели то, какое наблюдается теперь. Прежде всего, теперь мы не знаемъ *студенчества*, а знаемъ только *студентовъ*,—обывателей, отличающихся отъ всѣхъ прочихъ своимъ мундиромъ, да хожденіемъ по утрамъ на лекціи. Въ мое время было совсѣмъ не то: каждый изъ насъ глубоко и ясно сознавалъ ту грань, которая выдѣляла университетскій міръ изъ окружающей его среды; каждый изъ насъ твердо вѣрилъ, что этотъ замкнувшійся и *самодовольствующій* міръ *выше и чище* этой окружающей его среды и сознательно готовился стать достойнымъ славнаго призванія поднять эту среду до себя, или, по крайней мѣрѣ, сберечь отъ нея то, что вынесется изъ университета. Такое сознание, пожалуй, суетное и горделивое, питало, однако, собою тотъ духъ корпоративной чести, ту вѣру въ науку, то самостоятельное и критическое отношеніе къ житейскимъ явленіямъ, которыя въ стѣнахъ университета заставляли насъ *только учиться*, пребывая совершенно безучастными ко всему тому, что творится за ними, а потомъ, въ жизни, спасло насъ отъ того, что зовется „забдающею средой“, и помогло тѣмъ изъ насъ, кому пришлось работать по крестьянскому дѣлу, „вести Положеніе 19 февраля въ дѣйствиѣ“ въ неприкосновенной цѣлостно-

сти его, въ духѣ, сообщенномъ ему Законодателемъ, не отступая ни передъ чѣмъ, что такъ или иначе влекло съ этого труднаго и скользкаго пути въ сторону, запугивало или прельщало. Подобный „закаль“ (я не нахожу болѣе мѣткаго выраженія) былъ въ особенности необходимъ юристу, призванному вообще вносить въ жизнь начало высшей справедливости и бороться за него противъ множества исконныхъ враговъ; онъ въ особенности необходимъ былъ нашему выпуску, которому прямо съ университетской скамьи приходилось начать эту борьбу и на плечахъ своихъ вынести къ ряду три послѣдовательныя великія реформы — крестьянскую, земскую и судебную, — реформы, которыя такъ круто разрывали съ прошлымъ и окружающимъ и такъ тѣсно сплачивались съ тѣмъ, чему учили насъ *тогдашній* университетъ.

Существуетъ мнѣніе, что замкнутое воспитаніе готовитъ странѣ непрактичныхъ гражданъ, что оно не должно чуждаться житейскихъ требованій, должно приспособляться къ нимъ... Подобныя воззрѣнія особенно распространены между современными самозванными педагогами и публицистами. Задача же науки, идущей всегда впереди жизни, юриспруденціи въ особенности, состоитъ не въ „приспособленіи“ къ жизни, а въ ея совершенствованіи. Усвоивать начала науки юноша можетъ только

въ уединеніи отъ жизни, мѣшающей этому дѣлу, въ корпоративномъ сообществѣ, облегчающемъ и развивающемъ его; а для того, чтобы усвоенныя такимъ путемъ начѣла претворялись въ жизнь въ качествѣ руководящаго и общедоступнаго свѣточа, необходимо, чтобы носитель его съ одной стороны непрерываемо сознавалъ главенствующее надъ нею значеніе науки, а съ другой—былъ въ юности своей, всегда податливой къ воспріятіямъ извнѣ, увлеченіямъ и самомнѣніямъ, хорошо защищенъ на это опасное время отъ того рекомендуемаго „знакомства съ жизнью“, которое вмѣсто ожидаемаго знанія ея даетъ въ итогѣ лишь самыя антисоціальныя результаты—своекорыстіе, карьеризмъ, уживчивость и покладистость къ тому, что требуетъ самаго энергичнаго протеста, способность „ходить по вѣтру“ и „плавать по теченію“,—однимъ словомъ то предательство, которое прикрывается скромнымъ названіемъ „практичности“ и которое, какъ ржа, выѣдаетъ все, что даетъ лучшаго университетъ. „Жизнь лучшая школа“ и „книга жизни лучшая изъ книгъ“,—совершенно вѣрно; но не слѣдуетъ забывать, что научиться въ этой школѣ можетъ только грамотный, и читать въ этой книгѣ съ пользою можетъ только тотъ, кто уже *выучился понимать и усваивать прочитанное*, а не тотъ, кого, какъ Гоголевскаго Петрушку, интересуеть лишь

„процессъ чтенія“. Для того, чтобы выработать въ юношѣ эту способность критически-самостоятельно относиться къ той жизни, которая ждетъ его за стѣнами университета и совершенствовать ее, *воспитаніе*, въ нихъ получаемое, должно быть замкнутымъ, должно быть „самовоспитаніемъ“, руководимымъ не внѣшними, а внутренними собственными факторами. Университетъ моего времени былъ близокъ къ этому идеалу, во всякомъ случаѣ былъ несравненно ближе къ нему, нежели теперешній. Какъ между профессорами и студентами, такъ и между самими студентами существовала живая связь, крѣпкая преподаваемою наукой и тѣми идеалами, о которыхъ учила она, связь, которую и теперь, черезъ тридцать лѣтъ, отрадно вспоминать, хотя и невыразимо-грустно говорить о ней, какъ о безвозвратно пока утраченной.

Тогдашнія среднія учебныя заведенія не грѣшили противъ евангельской заповѣди—*не угашали духа* переутомленіемъ. Тогдашняя школа оставляла ученику (неумышленно, конечно) много свободныхъ часовъ для саморазвитія чтеніемъ и бесѣдами, для синтеза и анализа, для вдумчивости, для оцѣнки и наблюдений при свободной помощи не придавленныхъ, не извращенныхъ природныхъ способностей ума и сердца.

„Какъ бы то ни было,—говоритъ Н. Н.

Терпигоревъ въ своихъ школьныхъ *Воспоминанiяхъ* *),—а мы жили, развивались, и развивались въ то, что мы теперь представляемъ, *поучительнымъ и удивительнымъ путемъ*. По настоящему, по тому, что дѣлалось для нашего развитiя начальствомъ, по тому, что оно внушало намъ, по тому, какiе мы видѣли примѣры,—изъ насъ изо всѣхъ должны бы обязательно выдти подлецы. Если что спасло насъ, такъ это—недостатокъ педагогическихъ на насъ воздѣйствiй, слишкомъ большой примѣръ живой жизни, которую педагоги своими системами и методами еще не успѣли въ школахъ того времени задавить. Этотъ примѣръ живой жизни спасъ насъ, не далъ намъ задохнуться и сдѣлаться тѣми жалкими, несчастными, блѣдными, съ искривленными спинами, близорукими, *какихъ сколько угодно въ теперешнихъ школахъ*, устроенныхъ и ведомыхъ чиновниками-педагогами съ изсохшими мозгами и сердцемъ. *Жажда чтенiя доходила у насъ въ кружкахъ до степени какого-то запоя*. Мы читали вечерами, ночами, утромъ, для чего вставали за часъ и больше до положеннаго по росписанiю времени, а зимой читали при свѣтѣ топившейся печки. И читали не вздоръ какой, а все серьезныя вещи: Соловьева, Бѣлинскаго, который тогда

*) *Историческiй Вѣстникъ*, январь 1896 г.

только что вышла, Тургенева, Костомарова, Гончарова, только что проявившагося тогда Добролюбова. *И я, и все мы—можемъ прямо сказать, что этому чтенію, или этой охотѣ къ чтенію, развитой въ насъ этими учителями, мы обязаны всею нашимъ развитіемъ.*

Массу подобныхъ же *единогласныхъ* отзывовъ можно найти въ печатныхъ и устныхъ школьныхъ воспоминаніяхъ той эпохи. Тотъ же отзывъ можетъ повторить и пишущій эти строки—современникъ ея.

Такова была средняя школа, таковъ былъ и университетъ 50-хъ годовъ съ незабвенною плеядою своихъ профессоровъ; таковъ былъ и студенческой тогдашней бытъ.

Университетскій человѣкъ въ мировомъ посредникъ перваго призыва, или въ пионеръ судебного преобразованія — совершенно не тотъ человѣкъ, который наблюдается, напримеръ, въ современномъ кандидатѣ на судебныя должности, помощникѣ присяжнаго повѣреннаго, земскомъ начальникѣ. Это—два антипода. Какая-то печальная эволюція не оставила ни одной черты, ни одного признака, по которымъ послѣдній напоминалъ бы намъ перваго. Тамъ, гдѣ нѣкогда мы восхищались идейнымъ отношеніемъ къ задачѣ, душевнымъ интересомъ къ своему дѣлу, мы впоследствии наблюдали лишь холодное, *entre-autre*, „прохождение службы“, узкую, карьерную цѣль, а

полученное университетское, „высшее“ образование распознавалось только по формулярному списку. Когда прокурору, напримѣръ, приходилось указывать *такую* задачу, взывать къ *такому* интересу, руководимый имъ университетскій человѣкъ новой формации почтительно выслушивалъ „указанія“ начальства, но для того только, чтобы потомъ, въ пріятельскомъ кружкѣ, посмѣяться надъ „неисправимымъ идеалистомъ“, хотя бы эти указанія сводились къ защитѣ законныхъ правъ изувѣченнаго машиною рабочаго, къ возстановленію чести обманутой дѣвушки, къ охранѣ истязуемаго ребенка и къ тому подобнымъ, совсѣмъ уже не мечтательнымъ цѣлямъ. Если же дѣло касалось выясненія личной, индивидуальной, бытовой, или соціальной обстановки событія, то университетскій человѣкъ далеко уступалъ семинаристу или воспитаннику военно-учебныхъ заведеній.

Все измѣнилось въ этой печальной эволюціи: и профессора, и студенты, и программы преподаванія. Профессорамъ приходилось уходить на заграничныя кафедры, въ адвокатскую корпорацію, или въ литературу. Увеличеніе платы за слушаніе лекцій наполнило университеты переутомленными сыновьями зажиточныхъ классовъ общества. Ихъ традиціи проникли въ стѣны университета, разобили студентовъ и, не встрѣчая уже отпора въ аба-

ригенахъ деревни и причта, дали преобладающій тонъ остальному студенчеству. Ихъ нѣтъ теперь, этихъ аборигентовъ; имъ близка и дорога была родная крестьянская изба, близокъ и дорогъ былъ ветхій домикъ сельскаго дьякона, обвѣянный святыми воспоминаніями скорбнаго дѣтства; въ нихъ жила и съ ними же ушла та „непочатая, черноземная сила“, которая всегда такъ благотворно-освѣжительна въ застоявшихся культурныхъ центрахъ, — сила, заставлявшая товарищей-аристократовъ краснѣть за свои роскошныя палаты, за свои веселыя ночи, за свою глупую болтовню и убогіе интересы. Въ этомъ оздоровительномъ всесословномъ общеніи исчезли кастовыя инстинкты, оживлялись умы потомковъ захудалыхъ дворянскихъ родовъ, росло и крѣпло альтруистическое чувство. Князья и графы щеголяли своими „карнаухими“ трехуголками и протертыми на локтяхъ сюртуками, пили вмѣстѣ съ дьяконскими сыновьями жиденкѣй „кружковой чай“, зачитывались и заговаривались до бѣла-свѣта. Объединяющимъ началомъ, вмѣсто винта и скачекъ, являлась выслушанная утромъ лекція, прочитанная книга, общественные идеалы.

Понятно, что подобные кадры не могли одѣлывать государственную службу покладливыми Молчалиными, а свободную адвокатуру — темными гешефтмахерами. Понятно, что ни

одинъ изъ выпущенниковъ этихъ кадръ не могъ бы унизиться до собственноручнаго „мордобитія“ подвѣдомыхъ обывателей и не даль бы своей подписи подъ приговоромъ, назначающимъ розги за недоимку.

Все измѣнилось, — и современный „дѣлецъ“ смѣнилъ былого „дѣятеля“.

Въ обилии поставляемый университетами позднѣйшихъ лѣтъ, дѣлецъ этотъ крайне ограниченъ въ своемъ умственномъ кругозорѣ; всякая мало-мальски серьезная бесѣда видимо тяготитъ его. Такъ же относится онъ и къ серьезной работѣ; въ ней онъ тупъ и неповоротливъ и можетъ двигаться лишь въ рамкахъ усвоеннаго шаблона. Сознательно-критическое отношеніе къ исполняемому закону ему совсѣмъ уже чуждо, да это нисколько и не интересуется его, разъ дѣло переходитъ за предѣлы личной выгоды или разчета. Руководится онъ, главнымъ образомъ, при помощи того не хитраго механизма, который зовется „житейскою сметкой“, и здѣсь, разумѣется, ошибокъ не дѣлаетъ; книгъ не выносить, чтеніе ненавидитъ, — оно опротивѣло ему съ гимназіи. Узнавши его поближе, вы непременно воскликнете: „Боже мой! Да пеужели же этотъ человѣкъ четыре года пробылъ въ университетѣ и вышелъ кандидатомъ?... О направленіи и говорить нечего. Его зачастую и не распознаешь: это и излишне, и

стѣснительно. Явственнѣе прочаго сказываются принципы ретрограднаго оттѣнка; ими даже любятъ нерѣдко и бравировать: съ видимымъ удовольствіемъ „кандидатъ юридическихъ наукъ“ расскажетъ, на примѣръ, какъ онъ приказалъ волостному суду выпоротъ такого-то мерзавца или какъ онъ утѣснилъ такую-то школу,—особенно, если въ собесѣдованіи участвуетъ кто-нибудь изъ старичковъ-шестидесятниковъ. Для народа, кромѣ ежовыхъ рукавицъ, онъ ничего не желаетъ, престижъ дворянства обязателенъ во что бы то ни стало и,—уже само собою разумѣется, „благо меньшого брата“, борьбу за право и справедливость и т. п. „направленство“ открыто зачисляетъ въ область „пустяковины“ и „сантиментовъ“.

Понятное дѣло, что подобные питомцы „высшаго образованія“, хотя бы оно ставилось обязательнымъ цензомъ, не будутъ желанными дѣятелями на поприщѣ государственнаго или общественнаго служенія. Въ должности земскаго начальника, вмѣсто указанныхъ въ законѣ цѣлей,—„блага сельскаго обывателя“ и „довершенія крестьянскаго дѣла“, они будутъ лишь „стоять на стражѣ“, въ финансовыхъ учрежденіяхъ будутъ преслѣдовать чисто-фискальныя цѣли, въ судѣ—репрессивныя, адвокатскую функцію перевернуть на коммерческое предпріятіе и, въ благопріят-

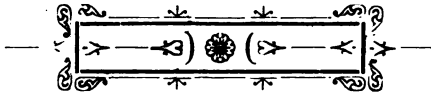
нѣйшемъ случаѣ, ничѣмъ не выдадутся, ничего по себѣ не оставятъ.

Мы отмѣтили лишь два пункта печальной эволюціи: исходный и конечный, чтобы короче и точнѣе продемонстрировать читателю характеръ полученнаго въ общемъ итогѣ контраста, — переходъ же съ начала къ концу совершался, разумѣется, постепенно. Исподволь, мало-по-малу, въ борьбѣ старыхъ университетскихъ традицій съ новыми вѣяніями („вѣяній“, впрочемъ, не было—было, скорѣе, затишье), дорогая сердцу alma mater превращалась въ злую мачиху. Цѣною горькаго искуса, многолѣтняго и широкаго, приобрѣли мы скорбное и, увы, неотъемлемое право сказать эти жесткія слова: процессъ превращенія пришлось намъ наблюдать *съ самаго ближайшаго разстоянія и во всѣхъ его сравнительныхъ и послѣдовательныхъ трехъ стадіяхъ*—въ студентахъ-сверстникахъ, въ студентахъ сослуживцахъ и въ студентахъ-подчиненныхъ. Наблюденія начались *съ 1855 г.* въ стѣнахъ университета и завершились въ концѣ *80 годовъ* на службѣ въ прокурорскомъ надзорѣ. Они обнимали собою *три большихъ судебныхъ округа и свыше двадцати университетскихъ выпусковъ*, ежегодно поставлявшихъ нашему руководительству *по нѣскольку* кандидатовъ на судебныя должности, командировуемыхъ въ помощь слѣдователямъ, лицамъ

прокурорскаго надзора или для занятій въ канцеляріи прокурора суда или палаты. Наблюдательный постъ оказывался, такимъ образомъ, обставленнымъ самыми счастливыми для полноты и безгрѣшности вывода условіями. Онъ давалъ, кромѣ того, возможность и сравнительныхъ сопоставленій съ воспитанниками не только различныхъ выпусковъ по годамъ, но и иныхъ учебныхъ заведеній. Различіе между первою и второю категоріями, очень рѣзкое и оцутительное въ началѣ 60-хъ годовъ, мало-по-малу сглаживалось, переходя къ 80-мъ годамъ, и подъ конецъ выразилось отрицательнымъ—0.

Вотъ почему такъ рѣзокъ контрастъ между началомъ и концомъ нашего очерка. Вотъ почему такъ страстно хочется вспомненное имъ *прошлое* видѣть не только *настоящимъ*, но и *будущимъ*. Вотъ почему А. Ф. Кони, такъ много и мѣтко наблюдавшій съ высоты своего служебнаго поста, долженъ былъ начать свой превосходный очеркъ, посвященный памяти знаменитаго дѣятеля эпохи реформъ, Д. А. Ровинскаго, такими словами: „Наше время упрекаютъ,—и не безъ основанія,— въ измелечаніи личности и въ господствѣ чрезмѣрной спеціализаціи. Оба эти явленія въ тѣсной связи между собою, и оба печально отражаются на духовномъ складѣ общественной жизни. Личность чаще и чаще ума-

ляется, ступшевывается.... Слабѣть воля, тускнѣють идеалы и все рѣже встрѣчаются такъ называемые характеры. Современный образованный человѣкъ можетъ, если хочетъ, обладать гораздо большимъ богатствомъ по части знаній, чѣмъ его отцы и дѣды; онъ окруженъ и гораздо болѣе удобною внѣшнею обстановкой. Но, на-ряду съ этою возможностью и съ этими удобствами, въ немъ нерѣдко замѣчается недостатокъ нравственной силы и дѣятельнаго отношенія къ жизни во всемъ, что не касается узко-личныхъ, по большей части, мелкихъ интересовъ“.



Воспоминанія Д. Н.
Свербеева *).

За годъ до Французовъ отецъ мой имѣлъ намѣреніе помѣстить меня въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ, но послѣ Московскаго разоренья это модное воспитательное заведеніе не было еще въ сентябрѣ 1813 года открыто, и меня на четырнадцатомъ году помѣстили на полупансіонъ къ профессору Мерзлякову вмѣстѣ съ двумя Глазуновыми. Я являлся туда ежедневно въ 8 часовъ утра и въ 7 часовъ вечера возвращался. За меня платили 500 рублей. Мерзляковъ жилъ на Большой Никитской противъ Никитскаго монастыря. Передъ самымъ вступленіемъ всѣхъ насъ троихъ къ Мерзлякову, отецъ моихъ новыхъ товарищей, Глазуновыхъ, задалъ ему обѣдъ на славу, въ Троицкомъ трактирѣ, на который были приглашены мой отецъ, мой наставникъ Никольскій и мы, будущіе питомцы профессора. Нашего будущаго воспитателя,

*) Готовя къ печати записки отца моего, съ удовольствіемъ даю въ „Воспоминанія о студенческой жизни“ его воспоминанія о возникшемъ въ 1813-мъ году изъ пепла Университетѣ. Эти воспоминанія, какъ и всѣ Записки, диктовались мнѣ отцемъ въ послѣдніе годы его жизни, и несмотря на растояніе полузѣвка живо переносился онъ въ первую четверть столѣтія. С. Свербеева.

упитаннаго и упоеннаго, вынесли изъ трактира на рукахъ. Кажется можно было предвидѣть, какъ пойдетъ наше образованіе; кромѣ насъ у Мерзлякова было еще трое пансіонеровъ, оканчивавшихъ въ университетѣ курсъ словесности: Аркадій Родзянка, порядочный стихотворецъ, и братъ его заика Миша, да въ видѣ наставника или гувернера семинаристъ, прехуденькій, пренѣжненькій, прекрасненькій Сокольскій, который давалъ намъ уроки словесности, правильнѣе сказать грамматики, пописывалъ пресладенькіе стишки, хворалъ грудью и умеръ въ чахоткѣ. Нисколько не подготовившись къ слушанію университетскихъ лекцій, всѣ мы допущены были въ университетъ безъ всякаго экзамена вольными слушателями. Когда я въ первый разъ предсталъ передъ грознымъ ректоромъ, профессоромъ статистики, Иваномъ Андреевичемъ Геймомъ, извѣстнымъ впрочемъ не статистикой, а своимъ Россійско-Нѣмецкимъ Словаремъ, беззубый нѣмецъ удивился нѣжной моей юности и покачалъ головой. Тогда на право слушанія лекцій выдавалась каждому на Латинскомъ языкѣ табель, въ которой по каждому факультету выставлены были съ именами профессоровъ всѣ предметы университетскаго ученія; ректоръ отмѣчалъ въ нихъ, по собственному своему усмотрѣнію, всѣ предметы, слушаніе которыхъ дѣлалось для снабженнаго табелью

обязательнымъ. Мнѣ на первый годъ предписано было постоянное посѣщеніе слѣдующихъ лекцій: статистики Гейма, славянской словесности у Гаврилова, Россійской словесности у Мерзлякова, таковой же исторіи у Каченовскаго, всеобщей исторіи у Черепанова, чего-то въ родѣ риторики у Побѣдоносцева, логики у Брянцова, латинскаго языка и римскихъ древностей у Тимковскаго, нѣмецкаго и французскаго языка у какихъ-то басурмановъ, и наконецъ, по собственной охотѣ, учился я танцованію у Морелли. Въ наше время мы не имѣли счастья слушать ни Пространнаго Катихизиса, ни Богословія. Такъ какъ старый университетъ послѣ пожара не начиналъ еще отстраиваться, то всѣ каѳедры, кромѣ медицинскаго факультета, помѣщались въ четырехъ аудиторіяхъ, въ небольшомъ каменномъ домѣ купца Яковлева, въ Долгоруковскомъ, между Тверской и Никитской, переулкѣ; тамъ же была и камера для университетскихъ засѣданій и канцелярія правленія. Въ нижнихъ этажахъ зданія размѣщены были на самыхъ тѣсныхъ квартирахъ въ четырехъ или пяти палатахъ казенные студенты всѣхъ факультетовъ, за исключеніемъ медиковъ; инспекторъ же ихъ жилъ опять таки наверху. Все жило въ тѣсотѣ, теперешнему уму непостижимой, и все жило ладно. Лекціи начинались зимой при свѣчахъ желтыхъ, саль-

ныхъ, вонючихъ; утреннія кончались въ 12 часовъ, возобновлялись тотчасъ послѣ обѣда казенныхъ студентовъ въ 2 и продолжались до 6, и это всякій день къ неопisanному нашему удовольствію.

Чуть-ли не слишкомъ много насчиталъ я себѣ профессоровъ на первый годъ моего курса. Все университетское четырехлѣтнее пребываніе представляется моей памяти какъ-то смѣшанно, безотчетно, а происходитъ это оттого, что я былъ слишкомъ молодъ и даже, по отношенію къ самой моей молодости, слишкомъ мало приготовленъ къ серьезному слушанію университетскихъ лекцій. По русски умѣлъ я кое-какъ составить правильный періодъ, но не зналъ правописанія.

Русскую Исторію до-Петровскаго времени я зналъ въ главныхъ чертахъ, о новѣйшей не имѣлъ я никакого понятія, тоже и съ всеобщей. Греки и Римляне были еще мнѣ свѣдомы; дошли до моего слуха и варвары и переселеніе народовъ и Средніе вѣка; но что касается Реформаціи и особливо Французской революціи, такой близкой къ моему отрочеству, то я всегда боялся, когда меня о нихъ что-нибудь спрашивали. Благодаря Никольскому мнѣ далась латынь. Корнелій Непотъ, Цицеронъ, Титъ Ливій были мнѣ, судя по годамъ, довольно доступны. По французски я могъ читать, по нѣмецки долбилъ неправильные

глаголы и приходилъ въ отчаяніе отъ длинныхъ періодовъ этого языка съ отсѣченною отъ глагола частичкою въ концѣ періода. Въ бытность мою на полупансіонѣ у Мерзлякова подготовленіе къ лекціямъ шло изъ рукъ вонъ дурно, а потому и самое преподаваніе профессоръ; какъ оно ни было поверхностно, не могло итти въ прокъ ни одному изъ моихъ сверстниковъ-студентовъ. Въ наше время можно было раздѣлить студентовъ на два поколѣнія: на гимназистовъ и особенно семинаристовъ, уже брившихъ бороды, и на насъ аристократовъ, у которыхъ не было еще и пушка на губахъ. Первые учились дѣйствительно, мы баловались и проказничали. Впрочемъ и самый университетъ въ 1813 году въ составѣ своемъ былъ гораздо плоше, чѣмъ за годъ или за два передъ французами. Онъ лишился къ этому времени лучшихъ представителей науки, изъ русскихъ—краснорѣчиваго профессора Страхова, а изъ германскихъ своихъ ученыхъ—Маттеи, Рейнгардта, Бунге, Буле и др. Привсей моей несостоятельности, нѣкоторыхъ профессоровъ своихъ слушалъ я охотно и, сколько могу за отдаленностью воспоминаній, постараюсь дать себѣ самому отчетъ въ томъ, что я именно слушалъ съ прилежаніемъ. Начну, какъ и слѣдуетъ, съ хозяина нашего пансіона, профессора Мерзлякова.

Онъ былъ человѣкъ несомнѣнно даровитый,

отличный знатокъ и любитель древнихъ языковъ, вѣрный съ нихъ переводчикъ въ стихахъ, нѣсколько напыщенныхъ, но всегда благозвучныхъ, беспощадный критикъ и въ этомъ отношеніи смѣлый нововводитель, который дерзалъ къ соблазну современниковъ посягать на славу авторитетовъ того времени, какъ напр. Сумарокова, Хераскова, и за то подвергался не разъ гоненію литературныхъ консерваторовъ. Иногда, но уже робкой рукой, касался онъ въ строгихъ своихъ разборахъ и самого Державина, окруженнаго въ то время ореоломъ славы. Тогда только что появились въ полномъ собраніи его сочиненія, гдѣ преобладала жалкая посредственность рядомъ съ самою возвышенною, звучною поэзіей.

У Мерзлякова было болѣе таланта, чѣмъ постоянства и прилежанія въ трудѣ. Говорили, что онъ въ это самое время любилъ и былъ несчастливъ, что ему отказали и что онъ любовь къ своей жестокой дамѣ замѣнилъ любовью къ Бахусу. Въ его преподаваніи особенно хромалъ методъ. Къ своимъ импровизированнымъ лекціямъ онъ кажется никогда не готовился; сколько разъ случалось мнѣ, почему то его любимцу, прерывать его крѣпкой послѣобѣденный сонъ за полчаса до лекціи; тогда въ торопяхъ начиналъ онъ пить изъ огромной чашки ромъ съ чаемъ и предлагалъ мнѣ вмѣстѣ съ нимъ пить чай съ ромомъ. „Дай мнѣ

книгу взять на лекцію“, приказывалъ онъ мнѣ, указывая на полки. — „Какую?“ — „Какую хочешь“. И вотъ, бывало, возьмешь любую, какая попадется подъ руку, и мы оба вмѣстѣ, онъ—восторженный отъ романа, я—на веселѣ отъ чая, грядемъ въ университетъ, и что-же? развертывается книга и начинается превосходное изложеніе. Какого-бы автора я ему ни сунуль, авторъ этотъ втѣсняется во всякую рамку послѣдовательнаго его преподаванія; и басня Крылова, если она подвернется, не мѣшала Мерзлякову говорить о лиризмѣ, когда въ порядкѣ, имъ задуманномъ, нужно было говорить о лирикахъ. Таковъ былъ Алексѣй Ѳеодоровичъ Мерзляковъ въ мое время, имѣвшій сверхъ того и какъ поэтъ и какъ по преимуществу поэтъ лавреатъ, т.е. поэтъ торжественныхъ случаевъ, огромныя достоинства. Онъ умѣлъ заказной казенной одѣ дать смыслъ и облечь ее одушевленною торжественностью. Студенты его любили и уважали, онъ былъ съ ними добръ и не заносчивъ. Учтивости отъ профессоровъ мы и не требовали. Второй изъ любимыхъ моихъ профессоровъ былъ Михаилъ Трофимовичъ Каченовскій, желчный, пискливый, подозрительный, завидливый, челоуѣконенавистный скептикъ, разбиравшій по всѣмъ косточкамъ и суставчикамъ начатки российской исторіи, которую онъ преподавалъ, ничего не принимавшій на одну вѣру, отвер-

гавшій всякое преданіе, однимъ словомъ— сомнѣвавшійся во всемъ. Вѣрилъ онъ одному только Нестору, не вѣрилъ ни „Русской Правдѣ“ Ярослава Великаго, ни духовному завѣщанію Владиміра Мономаха, ни подлинности Слова о полку Игоревѣ, ни тому, что куньи мордки замѣняли монету. Въ изложеніи всякаго рода историческихъ сомнѣній и въ опроверженіи достовѣрности источниковъ проходилъ цѣлый годъ курса. Бывало начнетъ перечислять славянскія и другія племена по Нестору, бьется съ ними цѣлый мѣсяць, и никакъ не сладитъ съ Корсами, что это былъ за народъ или народецъ. Дойдетъ до нихъ дѣло, и мы бывало спрашиваемъ: „Что-же, Михаилъ Трофимовичъ, Корсы?“ — „Очень ужъ ты любопытень! Корсы пусть будутъ Корсы; будетъ съ васъ. Миѣ и Варяговъ опредѣлить мудрено.“ — Всѣ знаютъ, какъ въ послѣдствіи онъ сохъ и желтѣлъ отъ успѣха исторіи Карамзина и какъ подъ нее подкапывался. Многіе помнятъ бранчивое къ нему посланіе кн. Вяземскаго, начинающееся слѣдующими словами:

Передъ судомъ ума сколь Каченовскій жалокъ,
Талантовъ низкій врагъ, завистливый Зоиль.

Несмотря на то онъ былъ человѣкъ ученый и достойный глубокаго уваженія, по истинной любви къ честному и безкорыстному труду и

по своему критическому таланту, который къ сожалѣнiю не всегда отличался безпристрастiемъ.

Довольно еще молодой, по сравненiю съ своими учеными товарищами профессоръ латинской словесности и римскихъ древностей Романъ Теодоровичъ Тимковскiй, учившiйся въ Геттингенскомъ университетѣ, отличался отъ всѣхъ благовидной, красивой наружностью, приличными манерами и пристойной одеждою того времени. Онъ страстно любилъ древнюю словесность и былъ, такъ сказать, нѣженъ къ тѣмъ немногимъ изъ своихъ студентовъ, которые охотно занимались его предметомъ. Такихъ было немного: человѣкъ пять изъ старшихъ гимназистовъ и семинаристовъ съ основательнымъ познаниемъ латыни, а между молодыми я изъ первыхъ. Мы переводили съ нимъ *à livre ouvert* котораго нибудь изъ Римскихъ классиковъ, но мнѣ не удалось дойти въ латыни до Тацита. Тимковскiй преподавалъ также греческiй языкъ, но увы! на этихъ урокахъ у него было всего три слушателя изъ семинаристовъ.

Ученикъ Вольфа, соученикъ Канта, философъ Андрей Михайловичъ Брянцевъ, чутьли не 80 лѣтнiй старикъ, въ голубомъ своемъ кафтанѣ съ стоячимъ воротникомъ и перламутровыми большими пуговицами, съ сѣдыми волосами *à la vergette*, при косѣ, восходилъ

на свою кафедру ровно въ 8 часовъ утра, слѣдовательно зимой при свѣчахъ, и преподавалъ намъ неудобноислѣдимую пучину логики и метафизики. Онъ всецѣло принадлежалъ какому то допотопному времени, объяснялъ намъ свои премудрости въ сухихъ выраженіяхъ, недоступныхъ нашему пониманію. Его ученая терминологія была латино-германская; его наука была нещадно сухая и схоластическая; даже русскій языкъ испещренъ былъ какими то старинными словами, оскорблявшими нашъ слухъ. Онъ употреблялъ *скоряе* вмѣсто скорѣе, *чего для* вмѣсто для чего и т. д. Тѣшилъ онъ юныхъ студентовъ, самъ того, конечно, не желая, презабавными примѣрами, избираемыми имъ для своихъ силлогизмовъ и логическихъ доказательствъ. Ему особенно любезенъ былъ Каій; напр., въ простомъ силлогизмѣ, что всѣ люди смертны, второю посылкой всегда было: „Каій человекъ, слѣдовательно Каій смертенъ“. Для силлогизма рогатаго, а можетъ быть для какой нибудь другой логической демонстраціи, которой выводы я забылъ, онъ между прочимъ говорилъ намъ съ кафедры:

„Танцовальщикъ танцовалъ,
А въ углу сундукъ стоялъ;
Танцовальщикъ не видалъ,
Что въ углу сундукъ стоялъ,
Зацѣпился и упалъ“.

Что изъ этого слѣдовало, — извините, я забылъ.

Жизни онъ былъ самой строгой и аскетически суровой; глубоко религіозный онъ чуждался всякаго общества. Сказываютъ, что кончивъ свою лекцію и побывавъ иногда въ конференціи университетскаго совѣта, все свободное время проводилъ онъ съ любимымъ своимъ котомъ. Я вгладъ ничего не понималъ въ его лекціи и, придя на лавку къ 8 часамъ утра еще не проспавшись, имѣлъ привычку зѣвать во всеуслышаніе. Одинъ разъ юнѣйшіе изъ моихъ товарищей пристали ко мнѣ и навели зѣвоту на самого нашего мудреца, что заставило его сдѣлать мнѣ, давно уже замѣченному въ такихъ продѣлкахъ, строгое и вмѣстѣ гуманное замѣчаніе. — Изъ такой краткой характеристики профессора Брянцева читатели мои увидятъ, что я учился очень плохо и что во мнѣ развивалась въ стѣнахъ университета одна способность схватывать смѣшную сторону моихъ наставниковъ; да проститъ мнѣ эту слабость строгая фигура Брянцева. Онъ, какъ увѣряли меня впоследствии мои товарищи, продолжавшіе изучать философію, былъ замѣчательный мыслитель своего времени, немногими понятый и оцѣненный. Покойный Михаилъ Александровичъ Дмитріевъ, занимавшійся цѣлую жизнь философіей, говорилъ о Брянцевѣ, что самъ всеразрушающій Кантъ

не отрекся бы признать въ своемъ соученикѣ брата о философіи. Когда я съ обычнымъ моимъ глумленіемъ припоминалъ Дмитріеву Брянцева дефиницію души: „Душа есть безусловное условіе всякаго условія“, Дмитріевъ объяснялъ мнѣ глубокой смыслъ этого изреченія, и я въ томъ убѣжденный съ нимъ соглашался, но теперь долженъ признаться, что опять позабылъ глубокой смыслъ дефиниціи.

Профессоръ всеобщей исторіи Никифоръ Евтропѣевичъ Черепановъ былъ бичемъ студентческаго рода. Онъ умерщвлялъ въ насъ всякое умственное стремленіе къ исторической любознательности, будучи самъ воплощенною скукою и бездарностію. И такого то профессора въ коротко обстриженномъ рыжемъ парикѣ, въ коричневомъ полиняломъ фракѣ, въ нестромъ жилетѣ, въ желтыхъ панталонахъ съ пятнами, невытаго и съ небритой бородой обязаны мы были слушать въ послѣобѣденное время съ 2-хъ часовъ до 4-хъ безъ перерыва. Такую пытку пришлось мнѣ выдерживать цѣлые два года и прослушать безсвязныя его сказанія объ Ассирійской, Вавилонской, Мидійской и Персидской монархіяхъ съ самыми сухими подробностями и въ непонятномъ переводѣ древнихъ историковъ. Какъ же мы его и слушали всѣ безъ исключенія! Не успѣеть пройти и четверть часа, и уже начинается слышаться сопѣнье, а потомъ и храпѣнье то

въ томъ, то въ другомъ углу обширной аудиторіи, наполненной до тѣсноты студентами. (Всеобщая Исторія была обязательна для всѣхъ студентовъ). Не засыпали у него только тѣ, которые запасались какой-нибудь книгой; читаль онъ вяло, длинно, монотонно и какимъ-то гробовымъ голосомъ. Разъ какъ-то неумышленно разыгралась въ этомъ классѣ пре-забавная исторійка. Ему, входящему въ этотъ классъ съ поклонами слушателямъ, мы отвѣчали шарканьемъ и продолжали этотъ шумъ и скрипъ отъ нашихъ ногъ гораздо дольше, чѣмъ было нужно для поклона. Онъ догадался, что тутъ вмѣсто оваціи кроется насмѣшка, и заговорилъ обычнымъ своимъ учительскимъ тономъ:

„Съ вашего позволенія, государи мои, такое учтивство, такъ сказать, хуже всякаго невѣжества,“ и тѣмъ же тономъ, безъ перерыва, шагая по ступенямъ на кафедрѣ продолжалъ: „Семирамида была хотя и легкомысленная женщина, но монархиня наизамѣчательнѣйшая“. Такой даровитый профессоръ у всѣхъ, у кого только могъ, отбилъ надолго охоту изучать всякую человѣческую исторію.

Адъюнктъ Мерзлякова по кафедрѣ Россійской словесности, Петръ Васильевичъ Побѣдоносцевъ преподавалъ намъ съ соблюденіемъ всѣхъ условій схоластики Россійскую Риторіку и Пінтику. Я слушалъ его съ нѣкото-

рою пользою для себя, находя вопреки общему настоящему мнѣнію, что эти обѣ науки упражняютъ въ юношахъ мышленіе и научаютъ ихъ письменно выражать мысли. Тотъ, у кого есть охота и талантъ писательствовать, пойдетъ дальше, лѣнивый или бездарный выучится по крайней мѣрѣ написать какое-нибудь письмо. Побѣдоносцевъ былъ учитель усердный, дѣльный и полезный безъ всякихъ другихъ претензій.

Чтобы не прерывать моего описанія всѣхъ моихъ профессоровъ, кстати представлю здѣсь изображеніе тѣхъ моихъ наставниковъ, лекціи которыхъ я слушалъ на второмъ и третьемъ годѣ моего курса.

Профессоръ славянской словесности Матвѣй Гавриловичъ Гавриловъ обучалъ насъ собственно говоря церковному нашему языку посредствомъ одного упражненія въ чтеніи нашихъ божественныхъ книгъ и преимущественно Чети-Миней. Едвали и самъ зналъ онъ во всемъ объемѣ языкъ имъ преподаваемый, у котораго не было, кажется, настоящей грамматики, да и теперь не знаю, существуетъ ли такая, которая бы отвѣчала всѣмъ требованіямъ филологіи, потому то и выбраны были для чтенія Житія Святыхъ, составленныя св. Димитріемъ Ростовскимъ. Славянскій языкъ Чети-Миней Ростовскаго святителя былъ доступенъ, ибо сближался уже съ простонароднымъ. У Гаврилова

я, издѣтства начетчикъ священныхъ книгъ по милости моего дядьки, Вареоломеевича, отличался передъ всѣми. Въ борзомъ чтеніи и даже въ разумѣніи читаемаго мнѣ уступали и иные семинаристы, и часто передъ классомъ забавлялъ я моихъ товарищей передражниваніемъ Гаврилова, такого же допотопнаго во всемъ старика, какъ и нашъ Всеобщій Историкъ, подбирая, подобно ему, забавные синонимы славянскихъ словъ и изобрѣтая, тоже подобно ему, самыя затѣйливыя объясненія. Расскажу кстати, чтобы показать, какія были отношенія студентовъ къ профессору и профессоровъ къ попечителю, что разъ случилось со мной на лекціи Гаврилова.

У него былъ обычай передъ приходомъ своимъ на лекцію посылать со сторожемъ тѣ, тяжело переплетенныя, съ мѣдными задвижками книги, изъ которыхъ онъ располагалъ читать для перевода, примѣра или объясненія; кто то изъ преподавателей передъ нимъ почему то не пришелъ, мы же не расходились въ ожиданіи Гаврилова. И вотъ младшіе изъ насъ вздумали предложить мнѣ его передражнивать. Я усѣлся на кафедрѣ, старательно принялъ на себя образъ и подобіе Матвѣя Гавриловича, вынулъ изъ кармана свои очки, спустилъ на самый кончикъ носа по его обычаю, разложилъ увѣсистую Чети-Минею и началъ публичное свое чтеніе разсѣвшимся

по лавкамъ студентамъ. Начало было весьма торжественное, объясненія были подходящія къ профессорскимъ со всѣми его синонимами, какъ напр. Богъ (Творецъ, — Вседержитель) и т. д., какъ вдругъ поднявъ глаза сверхъ очковъ увидѣлъ я смиренно прислонившуюся къ двери фигуру профессора. Это видѣніе поразило меня благоговѣйнымъ ужасомъ, я обомлѣлъ и онѣмѣлъ, ноги мои подо мною подкосились, я даже не могъ встать, а Гавриловъ просилъ продолжать. Все благополучно кончилось приличными извиненіями одного и увѣщаніями другого. Самъ учитель воссѣлъ на кафедру и съ какимъ то необыкновеннымъ одушевленіемъ, на этотъ разъ довольно увлекательно началъ читать Житіе св. мученицъ Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (кому покажется, что я подобралъ эти имена на смѣхъ, совѣтую прочесть это житіе и увѣриться въ дѣйствительно изящномъ изложеніи). И что-же? Тихо отворилась дверь и къ ней прислонился внезапно вошедшій новый попечитель университета, князь Андрей Петровичъ Оболенскій; чтеніе продолжалось въ тишинѣ, не нарушимой даже скрипомъ студенческихъ перьевъ. Въ свою очередь мой профессоръ взглянулъ сверхъ очковъ, узрѣлъ вновь назначеннаго университету попечителя и вострепеталь, подобно мнѣ несчастному, благоговѣйнымъ ужасомъ, едва могъ встать и сойти

дрожащими ногами съ кафедры, чтобы преклониться передъ величіемъ начальника. Напрасно кроткій князь Оболенскій, человекъ весьма набожный, радушно просилъ продолжать; продолженіе обѣцано было впредь, а посѣщеніе ограничилось любезностями. Гавриловъ конечно не могъ основательно выучить никого славянскому языку, но все таки выучилъ иныхъ славянской грамотѣ и цифири, сколько нибудь пріучилъ ихъ слухъ къ церковной рѣчи, объяснялъ ея обороты и такимъ образомъ былъ не бесполезенъ въ своемъ преподаваніи.

Пройду молчаніемъ двухъ профессоровъ Германскаго происхожденія съ ихъ нѣмецко-русской рѣчью, ректора, Ивана Андреевича Гейма, безтолково преподававшего варварскимъ русскимъ языкомъ статистику, науку, которая была слишкомъ нова и несостоятельна тогда даже и въ Германскихъ университетахъ, и другого профессора также мало установившейся въ то время науки — политической экономіи, Августа Христіановича Шлецера, сына великаго нашего академика. Профессоръ Шлецеръ три раза мѣнялъ языкъ для удобнѣйшаго чтенія: сперва пробовалъ начать преподаваніе по нѣмецки, всѣ слушатели въ одинъ голосъ сказали, что они вглядъ ничего не понимаютъ; потомъ по латыни, — студенты повторили то-же, а профессоръ убѣдился самъ, что науку новую преподавать на древнемъ

языкъ было бы и для него неодолимымъ затрудненіемъ, поневолю надобно было взяться за Русскій языкъ, которымъ профессоръ не владѣлъ и на каждой лекціи смѣшилъ насъ злоупотребленіемъ уменьшительныхъ, приводя въ примѣры „скотиковъ, мужичковъ, сѣнца, лошадокъ“ и пр. Онъ былъ невзыскателенъ; его посѣщали немногіе.

Старѣйшіе и прилежнѣйшіе изъ студентовъ-юристовъ съ уваженіемъ отзывались о лекціяхъ строгаго и дѣльнаго профессора Правъ, Римскаго и Естественнаго, Льва Алексѣевича Цвѣтаева, но для меня оставался онъ всегда недоступнымъ, и я очень рѣдко надобдалъ ему и себѣ посѣщеніемъ этихъ лекцій. Мудрено бы подумать, а оно на самомъ дѣлѣ было такъ, что самымъ потѣшнымъ преподавателемъ и самыми веселыми предметами были профессоръ Михаилъ Матвѣевичъ Снѣгиревъ и его кафедра—Исторія философіи и Церковная Исторія. Въ той и другой рассказывалось множество всякаго рода анекдотовъ и заманчиво любопытныхъ повѣствованій; приведу изъ нихъ два, мнѣ особенно памятные. Желая дать понятіе слушателямъ о древней философіи Индѣйцевъ либо Аравитянъ и объ опредѣленіи ихъ философами божественныхъ свойствъ Творца вселенной, Снѣгиревъ выразился однажды такъ: „по созерцанію такого то древняго философа, перешедшему

въ сознаніе его народа, Богъ такъ всевидящъ, что Онъ въ самую черную ночь, на самомъ черномъ камнѣ, самага чернаго жука видитъ“, я, любя всегда посмѣяться, конечно, изподтишка, обыкновенно садился на Снѣгиревскихъ лекціяхъ на первой лавкѣ, прямо у него подъ носомъ, и выслушавъ такое древнее восточное ученіе о всевидѣніи Божиємъ, имѣлъ неосторожность довольно громко засмѣяться. Благочестивый профессоръ сдѣлалъ мнѣ выговоръ не дерзать глумиться надъ священными предметами. Какъ нарочно мнѣ на бѣду слѣдующая Снѣгиревская лекція была изъ преподаваемой имъ-же церковной исторіи. Повѣствуя о различныхъ ересеяхъ, онъ дошелъ до одной изъ нихъ, въ которой (не упомяну ея названія) христіанство нисходило съ высоты своего великаго значенія и обращало послѣдователей этой ереси къ самому невѣжественному суевѣрію. Преподаватель перешелъ тутъ къ различнымъ грубымъ видамъ послѣдняго и въ нашемъ народѣ. „Вотъ на примѣръ расскажу я вамъ, какъ прошлымъ лѣтомъ, будучи визитаторомъ народныхъ школъ нашего учебнаго округа, зашелъ я въ небольшомъ городкѣ Владимірской губерніи въ одну церковь и вдругъ, теперичка (любимое его слово), вижу я огромнѣйшую икону. Подхожу, теперичка, къ ней, горитъ лампадка, да и безъ того это было днемъ, смотрю: образъ

человѣческій, длины - необычайной, волосы взъерошены, борода всклокочена, глазища страшнѣйшіе, руки, ноги длиннѣйшія, сумрачный, дикій, ужасающій, и вижу надпись: Великъ Господь и страшенъ зѣло! Видите, господа, теперичка, какой-то суздальскій богомазь "... Тутъ я, сидѣвшій напротивъ, уронилъ платокъ, которымъ во все время этого разсказа заглушалъ мой смѣхъ, и разразился такимъ хохотомъ, а за мной и всѣ безъ исключенія слушатели, что профессоръ сперва покраснѣлъ, а потомъ страшно поблѣднѣлъ отъ негодованія; встали-ли дыбомъ у него волосы, осталось покрыто мракомъ неизвѣстности, но глаза страшно вытаращились, и въ видѣ описываемой имъ иконы сбѣжалъ онъ съ кафедры, дернулъ меня за руку, велѣлъ сейчасъ выйти изъ класса и ждать его въ канцеляріи. Что происходило въ аудиторіи по моему исчезновеніи — мнѣ не было до того дѣла, я придумывалъ, что со мною будетъ, и обдумывалъ, какъ бы не оробѣть. Классъ кончился скорѣе обыкновеннаго; профессоръ настоятельно приказывалъ мнѣ просить прощенія, я отвѣчалъ; „я не виноватъ“. „Какъ ты смѣешь смѣяться?“ — „Воля ваша, смѣшно рассказываете“. — „Я непременно отведу тебя сейчасъ къ ректору“, — „Пойдемте“. — Мы оба съ нимъ надѣли наши теплыя платья и пошли. Онъ меня взялъ за воротъ и всю дорогу торговалъ

ся, чтобы я просилъ прощенія,—я упорствовалъ; наконецъ, мы пришли къ самой двери ректорской квартиры, и тутъ только выпустилъ онъ меня изъ рукъ, впрочемъ, нисколько не убѣжденнаго въ моей виновности, но съ надеждой, какъ онъ заключилъ, что я исправлюсь въ моемъ неприличномъ поведеніи. Студенты встрѣтили меня освобожденнаго рукоплесканіемъ.

Послѣдніе два года моего университетскаго образованія съ живѣйшимъ участіемъ, любовью и великою для себя на всю жизнь пользою слушалъ я лекціи профессора практическаго законоискусства, Николая Николаевича Сандунова. Приготовленіемъ студентовъ къ этому предмету была кафедра Россійскаго законодательства, которую занималъ бездарный адъ-юнктъ Смирновъ. Его и университетское начальство терпѣло по снисхожденію, слушатели имѣли къ нему отвращеніе. Потерявъ всякое терпѣніе, я бросилъ эти лекціи послѣ двухъ мѣсяцевъ, не дослушавъ ихъ и до Судебника царя Ивана Васильевича; все читаемое имъ было сбивчиво и безтолково до нелѣпости. У Сандунова, напротивъ, все было заманчиво, живо, весело, даже для нашего младшаго поколѣнія студентовъ. Самъ профессоръ не имѣлъ никакого научнаго образованія, и вѣроятно, вслѣдствіе крайняго незнанія науки права вообще отвергалъ самую науку и при всякомъ

удобномъ случаѣ выражалъ къ ней свое презрѣніе. Онъ былъ человѣкъ необыкновенной остроты ума, рѣзкій, энергичный, не подчиняющійся никакимъ приличіямъ (впрочемъ до известной черты осторожнаго благоразумія), безцеремонный и иногда бранчивый съ студентами, которые однако всѣ его любили и уважали. Самъ онъ не читалъ намъ ничего и порядокъ его лекцій весь заключался въ слѣдующемъ.

Для слушателей своихъ онъ составилъ возможно правильную систему изъ громаднаго количества всѣхъ Россійскихъ законовъ, начиная отъ Уложенія царя Алексѣя Михайловича, бывшаго тогда главнымъ ихъ основаніемъ, и той массы уставовъ, наказовъ, инструкцій и общихъ и сепаратныхъ, Указовъ, разбросанныхъ всюду и нигдѣ въ одно цѣлое не собранныхъ, которыми управлялось до изданія Свода законовъ Русское государство и которые представляли всѣ вообще самую труднѣйшую задачу для исполненія суда и расправы на самомъ дѣлѣ и для защиты своего права, какъ въ дѣлахъ уголовныхъ, такъ и въ дѣлахъ гражданскихъ. До Свода къ каждому случаю прилагалось какое нибудь особое постановленіе или Указъ въ одномъ смыслѣ, и тутъ же рядомъ отыскивался въ смыслѣ совершенно противномъ другой Указъ или постановленіе. Весь ходъ дѣла запутывался и спутывался

до безконечности, и въ наше время становится непонятнымъ старинное производство въ нашихъ присутственныхъ мѣстахъ, такъ же какъ въ послѣднее время сдѣлалось непонятнымъ очень недавнее существованіе отжившаго крѣпостного права. Какъ бы то ни было, изъ всего этого хаоса, повторяю, Сандуновъ сотворилъ свою систему. Основаніемъ ея служила книга подъ названіемъ; „Памятникъ Россійскихъ Законовъ, т. е. собраніе ихъ по годамъ изданія, не официальное и, какъ утверждали, далеко не полное, ибо въ то время многіе Указы затеривались.

Первые полчаса двухчасовой своей лекціи назначалъ онъ для чтенія этихъ Законовъ; студенты читали, онъ объяснялъ читанное, слѣдующій часъ посвящался чтенію подробной Записки какого-нибудь дѣла изъ Сената, которое производилось потомъ практически въ двухъ судебныхъ инстанціяхъ, низшей, т. е. въ уѣздномъ судѣ, и средней, т. е. въ гражданской палатѣ. Членами этихъ судовъ были избранные профессоромъ студенты; секретари и повѣренные тяжущихся были также по его выбору. Дѣла производились гражданскія; была сдѣлана попытка Сандуновымъ ввести и судъ по формѣ, узаконенный Петромъ Великимъ, но судоговореніе столь же мало удавалось студентамъ, какъ и всей нашей судебной практикѣ, и потому и тамъ и здѣсь было

брошено. Явное доказательство того, что у насъ долго, очень долго, до послѣднихъ, нашихъ дней говорить было неспособно. Трудно представить себѣ теперь, съ какой охотой, съ какимъ возбужденіемъ, скажу, съ какою юною запальчивостью происходили въ классахъ Сандунова наши судебныя представленія, въ которыхъ главныя роли разыгрывались бойкими студентами и страстными повѣренными тяжущихся сторонъ. Подумаешь, что каждый боялся проиграть въ своемъ процессѣ цѣлое состояніе.

По особенной моей охотѣ къ этой, своего рода полезной комедіи, я постоянно выбирался, а иногда и самъ запрашивался въ повѣренныя и считалъ себя обиженнымъ, когда приходилось уступать это званіе товарищу и попадать въ секретари. Послѣдніе, какъ это бывало и въ настоящихъ судахъ, писали за судей резолюціи, члены же присутствій, какъ это бывало и въ настоящихъ судахъ, были и у насъ люди лѣнныя и не очень грамотныя.

Не знаю, гдѣ и въ какомъ заведеніи воспитывался самъ Сандуновъ и какого онъ былъ происхожденія; не думаю, чтобы онъ былъ дворянинъ, но онъ былъ и не изъ духовнаго званія: выходящіе изъ семинаріи, а особливо люди съ дарованіемъ, носятъ на себѣ отпечатокъ науки,—въ немъ видна была одна

начитанность, едва ли зналъ онъ по-латыни, но много читалъ по нѣмецки; братъ его былъ актеромъ и любимцемъ Московской публики. Московскій университетъ для кафедры Россійскаго Законоискусства взялъ этого профессора изъ Сената, гдѣ онъ былъ оберъ-секретаремъ и откуда старались выжить его, какъ доку и знатока и въ тоже время человека неподкупнаго никакими взятками, независимаго характера и не слишкомъ уклончиваго передъ начальствомъ. Въ классѣ своемъ обращалъ онъ особенное вниманіе на отчетливое чтеніе студентовъ, требовалъ отъ нихъ, чтобы они умѣли разбирать скоропись Сенатскихъ Записокъ, не всегда разборчивую. Бѣда бывала тому студенту, который спутается въ чтеніи и сдѣлаетъ непонятнымъ для всѣхъ читаемое. Однажды сидѣвшій возлѣ меня казеннокошный студентъ, лѣтъ около 25, съ небритой бородой, въ голубоватомъ фризовомъ сюртукѣ, какихъ нѣтъ теперь и на свѣтѣ не бываетъ, вызванъ былъ къ чередному чтенію записки. Взявъ толстую тетрадь въ руки, онъ сейчасъ же замялся, кое какъ пробормоталъ длинный приказный періодъ, никто его не понялъ; профессоръ спросилъ, понимаетъ-ли самъ чтець? громкое „нѣтъ“ было отвѣтомъ. Послѣдовалъ хохоть, которому поддался и самъ наставникъ, любившій насмѣшку, часто самую ядовитую. Приказано

читать слѣдующему, т. е. мнѣ; я прочелъ цѣлую страницу отлично, съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой. „Какъ твоя фамилія?“ спросилъ профессоръ, не смотря на то, что зналъ меня очень хорошо. Я назвалъ себя. — „Сколько тебѣ лѣтъ?“ — „Шестнадцать“. — „Ты изъ какихъ?“ — „Дворянинъ“. — „Твой отецъ?“ Я сказалъ, что отецъ мой умеръ, что онъ былъ статскій совѣтникъ. „Есть у тебя какое-нибудь состояніе?“ Я отвѣчалъ, что есть. — „Какое?“ Я объяснилъ, — замѣтите, что все это очень коротко было извѣстно профессору. „Ну а ты, батюшка“, обратился онъ къ первому чтецу, „изъ какихъ?“ — „Изъ духовнаго званія“. — „Который тебѣ годъ?“ — „Двадцать четыре“. А твоя фамилія?“ Семинаристъ назвалъ какую то изъ двенадесятихъ праздниковъ отъ Богоявленскаго до Рождественскаго включительно. „Состояніе есть?“ — „Никакого“ — „Ну ужъ, батенька, ты шлопай; ѣсть нечего, бороду брѣешь, а читать не умѣешь!“ — Но въ немъ не было пристрастія къ дворянамъ, ни нерасположенія къ прочимъ сословіямъ, напротивъ тѣхъ студентовъ изъ духовнаго званія, равно и гимназистовъ, которые отличались своимъ образованіемъ и примѣрнымъ прилежаніемъ, съ любовію приготовлялъ онъ по своему классу къ полезной гражданской службѣ и всегда имъ покровительствовалъ. Такихъ студентовъ, стар-

шихъ насъ годами, мы имѣли въ большомъ уваженіи, мы называли ихъ патриціями, и такихъ было въ наше время очень много. Въ живыхъ остался теперь еще одинъ, бывшій секретарь Московскаго Земледѣльческаго Общества Степанъ Алексѣевичъ Масловъ, почти 80-ти лѣтній, человѣкъ весьма замѣчальный.

Слѣдую такому же безпристрастію къ богатымъ и бѣднымъ, къ старымъ и юнымъ студентамъ, Сандуновъ обращался со всѣми одинаково безцеремонно. Выходокъ его съ нами не вытерпѣли бы теперь и мальчишки уѣздныхъ училищъ, не говорю уже о гимназистахъ. Приведу другой случай: одинъ изъ нашихъ меньшихъ братій громко во время класса заговорилъ съ товарищемъ, профессоръ замѣтилъ и, указавъ на него пальцемъ, грозно сказалъ: „Вставай-ка, батенька, кто ты таковъ?“ „Мещериновъ.“ — „А, дворянинъ, слыхаль. Татарщина, батенька, татарщина! Татарскаго происхожденія! Шалопай ты, даромъ что дворянинъ.“ Къ сожалѣнію въ этомъ упрекѣ законовѣдца обнаружилось невѣжество самого профессора въ русской этнографіи; Мещериновъ очевидно былъ финскаго происхожденія изъ племени, упоминаемаго Несторомъ, Мещера, князьки которыхъ у насъ извѣстны подъ названіемъ князей Мещерскихъ. Рѣдкую въ профессорахъ въ то время независимость характера передъ начальствомъ

рѣзко выказалъ Сандуновъ въ одномъ, извѣстномъ мнѣ, случаѣ. Добродушному попечителю князю Оболенскому нужно было по одному частному дѣлу посовѣтываться съ человекомъ вполне знающимъ наши законы. Не предупредивъ Сандунова, онъ вздумалъ позвать его къ себѣ въ неурочный часъ; необычный призывъ удивилъ Сандунова. „Что прикажете, Ваше Сіятельство?“ сказалъ онъ входя къ своему начальнику, принявшему его стоя. — „Я хочу посовѣтоваться съ Вами по одному дѣлу“. — „По какому Ваше Сіятельство?“ — „Моему собственному. — „Ну, ужъ извините; вѣроятно намъ долго будетъ толковать, я усталъ, въ торопяхъ пришелъ пѣшкомъ“. Тогда онъ взялъ стулъ и сѣлъ передъ попечителемъ. Въ справедливую похвалу кн. Оболенскому надобно прибавить, что онъ почувствовалъ свою пеловкость и просилъ въ ней у Сандунова извиненія. Честь и слава имъ обоимъ! они оба были выше своего времени. Въ заключеніе о Сандуновѣ выражаю здѣсь глубокую мою признательность къ его честной памяти; подъ его особеннымъ милостивымъ ко мнѣ руководствомъ выучился я писать сколько-нибудь грамотно и стараться, чтобъ мною писанное было отчетливо и ясно по возможности для каждаго, а въ долгой жизненной практикѣ и весьма недолгой служебной, я, по его же милости, научился под-

крѣплять мои права, какъ помѣщикъ, нашими законами, писать дѣловыя бумаги и обходиться, кромѣ чрезвычайныхъ случаевъ, безъ содѣйствія всякаго рода приказныхъ и стряпчихъ. Въ моемъ служебномъ поприщѣ всѣ, большія или малыя познанія, добытыя мною въ двухъ-годичныхъ занятіяхъ у Сандунова юридическою практикою, могли бы быть также мнѣ полезны и повести меня далеко, если бы... но эти *если* объясню я въ своемъ мѣстѣ и въ свое время.

Не имѣю права говорить ни объ адъюнктѣ математики, Перелоговѣ, ни о профессорѣ физики, Двигубскомѣ, которые мнѣ указаны были въ моей табели; я ихъ слушалъ мимоходомъ и ровно ничему отъ нихъ не научился.

Лекторами трехъ новѣйшихъ языковъ были: французскаго аббать Арнольдъ, восторженный чтець немногихъ своихъ лириковъ; студенты забавлялись постояннымъ его дразненьемъ, отъ нихъ же первый былъ *азъ*; нѣмецкаго—Ульрихъ, у котораго, не понимая языка, я хлопалъ глазами; знавшіе по нѣмецки слушали его съ пользой; англійскаго—Эвансъ, воспитавшій нынѣшняго московскаго голову (кн. Черкаскаго), какъ видится, съ блестящимъ успѣхомъ. Къ Эвансу я не ходилъ, потому что не знаю и теперь ни одного англійскаго слова, но всегда гордился тѣмъ, что первый изъ моихъ университетскихъ друзей, Кур-

батовъ, былъ изъ лучшихъ учениковъ его класса: такъ въ наши давно прошедшіе времена иной московскій франтъ бывало гордился тѣмъ, что его дядюшка или двоюродный братецъ прожилъ въ Парижѣ цѣлую зиму.

Хореографическое искусство было также въ числѣ образовательныхъ предметовъ университетскаго юношества. Мы учились танцовать у сухопараго, небольшого ростомъ, старца Морелли и при вступленіи его въ классъ шагами на третьей позиціи всегда привѣтствовали его восклицаніемъ: „У Морелли ноги подгорѣли!“ По временамъ въ танцевальную залу, для большаго эффе́кта, приносились ему хлопушки, производившія на насъ пріятное, а на него ужасающее впечатлѣніе.

Перебравъ по именамъ всѣхъ профессоровъ, я долженъ помянуть и товарищей. Во главѣ ихъ были такъ называемые *Patres conscripti*, слава и краса студенчества, если не изящностію формъ и облаченія, то духомъ премудрости и разума и глубиною познаній (разумѣется относительно насъ). Между сими Патриціями выше всѣхъ стоялъ для меня выдержавшій въ скоромъ времени экзамень, кандидатъ, а черезъ годъ магистръ этико-политическаго отдѣленія (по нынѣшнему—философскаго и юридическаго вмѣстѣ), къ которому принадлежалъ и я, Степанъ Михайловичъ Семеновъ. Онъ замѣчателенъ былъ, кромѣ

познаній, строгою діалектикою и неумолимымъ анализомъ всѣхъ по его мнѣнію предразсудковъ, обладалъ классической латынью и не чуждъ былъ древней философіи. Онъ всею душою преданъ былъ энциклопедистамъ XVIII вѣка, Спиноза и Гоббесъ были любимыми его писателями. Лѣтъ семь-восемь послѣ этого Семеновъ сдѣлался душою тайнаго политическаго общества, подготовившаго мятежъ декабристовъ. Онъ содержался въ крѣпости и былъ подъ слѣдствіемъ, какъ секретарь общества, но отвѣты его передъ слѣдователями были до того преисполнены осторожной, хитрой и при всемъ томъ строго честной юридической мудрости, что какъ ни хотѣли предать его суду вмѣстѣ съ прочими,—исполнить этого не могли, и онъ безъ суда, вмѣсто всѣхъ другихъ наказаній, подвергся отправленію на службу въ Томскую, а потомъ въ Тобольскую губерніи, гдѣ и кончилъ жизнь. Вторымъ изъ мудрецовъ студентовъ былъ для меня конечно мой Никольскій, также кандидатъ, который и жилъ со мною. Потомъ, по образу и по подобію Сандунова, законоискусникъ Яковлевъ, Любимовъ, воспитавшій графовъ Толстыхъ, Лидинъ и другіе, всѣ они еще въ мою бытность вышли въ магистры и всѣ были духовнаго званія.

Являясь на лекціи особнякомъ отъ насъ юношей, почти отроковъ, эта фаланга па-

триціевъ отличалась особенно на диспутахъ въ нашемъ факультетѣ и часто отчаянно боролась и побѣждала стоящаго на кафедрѣ для защиты своей диссертациі какого либо товарища магистранта, защищающаго свою магистерскую или докторскую диссертацию.

Кромѣ студентовъ патриціевъ были еще моими товарищами другого закала студенты, казеннокоштные. Они, числомъ около сотни, тѣсными кучами жили въ нижнемъ этажѣ нашего небольшого университетскаго дома, человекъ по пяти въ одной комнатѣ, и жили грязно, бѣдно и голодно. Я сближался со всѣми кружками, стараясь всѣмъ быть пріятнымъ, а равно какъ и для утоленія голода, ходилъ къ нимъ между классами напиться у сбитенщика горячаго сбитню, котораго теперь въ Москвѣ не найдешь, поѣсть съ грязнаго лотка гороховаго киселя съ коноплянымъ масломъ, либо гречневиковъ, и за такое сближеніе съ казенными нашими товарищами, коихъ я почиталъ своими одноклассниками, получалъ упреки отъ товарищей моихъ высшаго полета, но этихъ я предпочиталъ послѣднимъ, какъ болѣе полезныхъ моему желудку и моей головѣ. Отъ нихъ можно было попользоваться и книжкой и записками лекцій; многіе изъ нихъ работали серьезно и приготавливались къ полезной себѣ и обществу жизни; нѣкоторые имѣли драматическіе

таланты и обыкновенно два раза въ годъ разыгрывали на своемъ домашнемъ театрѣ лучшія комедіи того времени. Мой любимый профессоръ, Сандуновъ, ихъ строгій, но чрезвычайно добрый инспекторъ, дирижироваль ихъ театромъ, который смотрѣть собирались родные и пріятели студентовъ. „Недоросль“, „Бригадиръ“ фонъ-Визина, „Ябеда“ Капниста, „Модная лавка“ Крылова давались превосходно; женскіе роли играли младшіе, не одинъ разъ предлагали и мнѣ участвовать, но у меня никогда не доставало на это храбрости. Любя казенныхъ студентовъ, я моею лептою увеличиваль ихъ скудныя средства для представленія.

Остается сказать немного словъ о слушателяхъ университетскихъ лекцій, аристократахъ; отцы ли ихъ гнушались для нихъ студенчествомъ или сами они опасались сръзаться на экзаменахъ, но большая часть этихъ полубаричей, не дѣлаясь студентами, пользовались слушаніемъ лекцій въ виду того, чтобы выдержать такъ называемый „комитетскій экзамень“ на право производства въ чинъ VIII класса, испрошенное Сперанскимъ, въ 1809 г. Такими слушателями, а не студентами, были слѣдующіе юноши, являвшіеся въ стѣны университета съ своими иностранными гувернерами. Размѣщу имена ихъ, сколько могу припомнить, по алфавиту: Анненковъ, Аничковъ,

Бахметевы два брата, изъ нихъ недавно умершій, Алексѣй Николаевичъ, былъ попечителемъ; Голохвастовъ—тоже попечитель; князь Долгорукій, бывший министръ въ Первую и потомъ сенаторъ, четверо Мухановыхъ, изъ нихъ двое здравствуютъ въ государственномъ Совѣтѣ, а одинъ былъ декабристомъ; Нащокинъ, Рахмановъ, Титовъ, тоже здравствующій; старѣйшими изъ числа аристократиковъ Михаилъ Александровичъ Дмитриевъ, который по обычаю того времени считался въ Архивѣ Иностранныхъ Дѣлъ и носилъ на себѣ важный въ нашихъ глазахъ чинъ титулярнаго совѣтника; Курбатовъ—острякъ, полиглоттъ, гуляка; Новиковъ, теперь еще здравствующій, былъ недавно почетнымъ опекуномъ. Эти трое были и по выходѣ моемъ изъ университета долго моими друзьями.

Аничковъ, ничѣмъ особенно не замѣчательный, былъ добрый малый. Въ домѣ отца его, маіора и старшаго члена Вотчиннаго Департамента, встрѣтился я въ первый разъ съ еще неженатымъ, издателемъ Семейной хроники, Сергѣемъ Тимоѣевичемъ Аксаковымъ, и могу удостовѣрить по собственнымъ моимъ воспоминаніямъ безпристрастное, можетъ быть, до излишества сказаніе сына о его батюшкѣ и матушкѣ. Отецъ его, Тимоѣей Степановичъ, былъ дѣйствительно уничтоженный превосходствомъ жены своей старикъ, добродушный, по

моему не глупый, но безцвѣтный, такъ себѣ, ничего. Напротивъ, маменька хроникера была барыня рѣшительная, умная, бойкая, господствовавшая вполне надъ мужемъ, равно какъ и въ гостиной Аничковыхъ; ихъ видалъ я часто. Самъ Сергѣй Тимоѣевичъ, еще очень молодой, занималъ тутъ всѣхъ рассказами о Державинѣ и Шишковѣ, о Петербургской сценѣ и о распорядителѣ ея кн. Шаховскомъ. Онъ и тогда уже, какъ и вся его семья, была, какъ говорится теперь, вполне Русскій, чуждаясь всего иноземнаго, и пламенѣлъ любовью къ Отечеству. Отецъ моего пріятеля, студента Аничкова, занималъ въ Москвѣ мѣсто начальника Вотчиннаго Архива, гдѣ хранились писцовыя книги и откуда всякаго рода помѣщики брали справки о своихъ родахъ и поземельныхъ владѣніяхъ. Онъ былъ своего рода дѣлецъ, не взяточникъ, хотя и принималъ допускаемую тогдашними нравами благодарность отъ просителей, въ тоже время былъ онъ масонъ и мистикъ и потому другъ врача Мудрова. Европейская цивилизація и нѣкоторая гуманность, несмотря на всю грубость его наружности, дошла и до него, не знающаго никакого языка, кромѣ русскаго, путемъ масонства; оттого и старшій его сынъ, Александръ, былъ порядочнѣе другихъ студентовъ, а меньшей, послѣ насъ вступившій въ университетъ, безъ большихъ протекцій

самъ сдѣлалъ себѣ порядочную карьеру, былъ нашимъ министромъ въ Персіи, недавно вышелъ въ отставку и живетъ еще и теперь, какъ мнѣ сказывали, въ Висбаденѣ.

Во все время моего курса самыми близкими ко мнѣ были студенты моихъ лѣтъ, которые по положенію своему стояли между аристократиками, казенными и патриціями. Такое мѣсто опредѣлялось для нихъ, какъ видно, потому, что они были иностраннаго происхожденія; то были, напр. Гильфердингъ, братья Цемши, Рихтеръ, Чиколини, Ланге, Шульцъ, Лафоржи и пр. Кой когда бывали у насъ и рукопашныя схватки и побоища; на всякій случай, въ опору и защиту моимъ некрѣпкимъ тѣлеснымъ силамъ, держалъ я у себя въ пріязни двухъ атлетовъ, Кожевниковыхъ, которые всегда оберегали мою личность. Юнѣйшій изъ всѣхъ студентовъ-аристократиковъ былъ теперешній восточно-православный поэтъ Теодоръ Ивановичъ Тютчевъ, пѣстуномъ коего былъ не иностранецъ, а тоже Русскій поэтъ, родомъ сербъ, Амфитеатровъ, братъ Филарета Кіевскаго и почему то по выходѣ изъ университета принявшій себѣ фамилію Раичъ, переводчикъ Тасса и, кажется, „Георгикъ“ Виргилія.

Такимъ образомъ во все мое университетское время, записанное безъ перерыва, пребывалъ я три года слишкомъ въ любви и мирѣ со всѣми моими товарищами. Старѣйшіе

оказывали мнѣ благосклонное свое вниманіе за то, что въ латинскомъ классѣ профессора Тимковскаго на ряду съ ними, не смотря на мою молодость, переводилъ я *á livre ouvert* латинскихъ авторовъ, а въ классѣ Сандунова дѣятельно раздѣлялъ съ ними занятія судебной практики и часто тягался съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ, будучи повѣреннымъ противной стороны по какому либо судебному дѣлу. Казенные студенты видѣли во мнѣ добраго товарища, который хаживалъ къ нимъ для утоленія голода, за книгами и за тетрадами; я пѣвалъ съ ними и читалъ либо Пареміи, либо Шестопсалміе. Съ аристократами у меня было много общихъ знакомыхъ въ городѣ и между ними много было лошадиныхъ охотниковъ, а мой экипажъ былъ изъ первыхъ. Красивый и молодцеватый кучеръ Михайло, гнѣдая коренная и сѣрый пристяжной жеребецъ, согнутый въ кольцо и дѣлавшій красивыя лансады, возбуждали зависть и удивленіе этихъ господъ; и теперь еще немногіе мои товарищи объ этомъ вспоминаютъ при встрѣчѣ со мной. Пріятели мои студенты иностраннаго происхожденія любили меня тоже за экипажъ, потому что я часто подвозилъ и развозилъ ихъ.

Передъ Рождествомъ 1813-го года и на всѣ Святки ученье въ небольшомъ пансіонѣ профессора Мерзлякова было прекращено, и

въ это время, на досугѣ рѣшено было моимъ отцомъ, конечно, не безъ совѣта Никольскаго, что собственно у Мерзлякова я ничему не могъ научиться. Тогда, послѣ Крещенья, началъ я брать частные уроки у профессора Каченовскаго на его квартирѣ. Надобно отдать справедливость этому истинно-ученому, трудолюбивому, желчному мужу; онъ занимался со мной какъ нельзя добросовѣстнѣе, за то и плата была порядочная, 25 руб. за урокъ по 2 часа каждый. Три раза въ недѣлю бывалъ я у него, читалъ и переводилъ съ нимъ латинскихъ и французскихъ авторовъ *à livre ouvert* и выслушивалъ безпощадно насмѣшливыя его замѣчанія на мои сочиненія или переводы, которые я составлялъ для него дома. Изъ латинскихъ авторовъ переводилъ я Цицерона или Тита Ливія, изъ французскихъ Боссюета и Флешье, Массильона и Бурдалу; изъ русскихъ читали мы Слова Ломоносова, и тутъ Каченовскій съ злобной радостью указалъ мнѣ, какъ отецъ нашей словесности выкрадывалъ цѣлыя страницы изъ Цицерона и помѣщалъ ихъ какъ свои въ похвальныхъ словахъ Петру Великому и Елисаветѣ. Попробовалъ было я представить со страхомъ и трепетомъ моему Зоилу, такъ его называли вообще, первые опыты собственно моихъ и переводимыхъ стихотвореній; прослушавъ ихъ съ самымъ обиднымъ для меня презрѣниемъ,

онъ ихъ откладывалъ безъ всякаго приговора и обращался къ прозѣ, а черезъ нѣсколько времени, когда я принесъ еще два-три стихотворенія, онъ вышелъ изъ терпѣнія. „Помилуйте, что Вамъ за охота писать стихи“, сказалъ онъ мнѣ, „когда у Васъ (на дому и за 25 р. профессора съ студентами бывали учтивѣе и не тыкали), повѣрьте мнѣ, нѣтъ никакого поэтическаго дарованія? Какая Вамъ радость умножать собою безчисленную толпу рѣмачей? Прошу не приносить мнѣ болѣе Вашихъ стиховъ и, если угодно послушаться моего совѣта, навсегда отказаться отъ рѣмобѣсія“. Я и въ самомъ дѣлѣ послушался благоразумнаго совѣта и, уже приближаясь къ старости, набросалъ нѣсколько стиховъ съ твердымъ намѣреніемъ не предавать ихъ гласности.

Къ марту мѣсяцу 1814 года Каченовскій, уступая желанію моего отца, объявилъ ему, что я могу выдержать студенческой экзамень, и я его въ половинѣ марта дѣйствительно съ большимъ успѣхомъ выдержалъ. По правдѣ сказать, что это былъ за экзамень? начать съ того, что самого труднаго для экзаменующихся теперь студентовъ предмета, Катихизиса, Богословія и Церковной Исторіи, у насъ совсѣмъ не было. Въ то время думали, что религіозное воспитаніе юношей есть дѣло отцовъ родныхъ или духовныхъ, и мнѣ сдается,

что мы какъ будто приверженнѣе нынѣшнихъ были къ православной церкви и достаточно знали все, что необходимо знать христіанину невысокомуудрествующему. Изъ латинскихъ авторовъ, по собственному моему вызову, раскрыли передо мной одну изъ рѣчей Цицерона; профессору Тимковскому извѣстно уже было, что я знакомъ достаточно съ этимъ авторомъ, но по пристрастному ко мнѣ снисхожденію онъ опасался моей робости, и длинный Цицероновскій періодъ, мнѣ предложенный, самъ расчленилъ и привелъ въ конструкцію строго логическую и правильную; я перевелъ, разумѣется, отлично. Изъ всѣхъ другихъ предметовъ вопросы дѣлались самые ничтожные, а кончился экзамень требованіемъ написать тутъ же сочиненіе на Русскомъ языкѣ; темой было: „Воспитаніе, даваемое у насъ иностранцами, болѣе вредно, чѣмъ полезно“. Отвѣчать мнѣ было легко; я, собственно говоря, не получилъ никакого воспитанія, ни иностраннаго, ни русскаго, и, предугадывая убѣжденія Московскаго университета, разругалъ въ моемъ сочиненіи всѣхъ иностранцевъ, назвавъ ихъ безбожниками и злодѣями нашего любезнѣйшаго отечества. Декану оно такъ понравилось, что онъ произнесъ мнѣ *axios*, какъ будто я переходилъ изъ дьячковъ въ дьяконы, профессора же благодарили и поздравляли. Со мной держали

тогда экзамень изъ Мерзляковскаго пансіона двое Глазуновыхъ; который-то изъ нихъ спутался въ географіи, Волгу отпавилъ въ Азовское море, а Дублинъ въ Соединенные Штаты, что однако не помѣшало ему получить такой же *ахіос*, хотя и не на греческомъ языкѣ. Въ наше безъурядное время въ студенты экзаменовались, когда кто захочетъ, исключая ваканцій, и по весьма малому числу слушателей въ университетъ вступали безъ всякихъ затрудненій. Меня, напримѣръ, далеко не послѣдняго изъ испытуемыхъ врядъ ли бы приняли теперь въ 4-ый классъ гимназій. Такимъ образомъ я получилъ званіе самое лестное для пятнадцатилѣтняго мальчика, хотя тогда уже и имѣлъ право носить шпагу, состоя на службѣ губернаторской канцеляріи въ чинѣ 14-го класса.

Въ 1815 году, по окончаніи лекцій, я долго оставался весною въ городѣ, почитая обязанностію ждать публичнаго университетскаго экзамена; настоящихъ серьезныхъ испытаній тогда не было, и потому почти всѣ мои товарищи разъѣхались. Торжественный экзамень передъ самымъ актомъ происходилъ въ собраніи всего университета подъ предсѣдательствомъ попечителя. Попечителемъ въ то время былъ до 1817 года сенаторъ Павелъ Ивановичъ Голенищевъ-Кутузовъ, очень плохой стихотворецъ, но человѣкъ весьма не глухой и весьма пропырливый.

Публичный нашъ экзаменъ, единственный, на которомъ я по неопытности почелъ нужнымъ присутствовать, былъ совершенно бесполезенъ. Изъ весьма небольшой кучки студентовъ спрашивали немногихъ и не по всѣмъ кафедамъ. Миѣ, напр. досталось привести примѣръ *высокаго* въ нашемъ краснорѣчїи, и я отвѣчалъ къ удовольствїю всѣхъ цѣлымъ періодомъ изъ похвальнаго слова Ломоносова Петру Великому: „Часто размышлялъ я, каковъ тотъ“ ... и далѣе сравненїе Петра съ Богомъ. Въ наше время этотъ примѣръ, вмѣсто изображенїя „эстетическаго, высокаго“, есть не что иное, какъ пошлая амплификація. Желанїе профессора славянскаго языка, Гаврилова, увѣрить свой факультетъ, что онъ дѣйствительно обучаетъ студентовъ славянскому языку, а не одному простому чтенїю, внушило ему изобрѣсти неудавшуюся штучку. По числу своихъ студентовъ (насъ было 25), онъ работалъ 25 пошлыхъ вопросовъ и вмѣсто того, чтобы потребовать отъ слушателей заучить ихъ всѣ, очень немудрые, назначилъ по одному каждому, на экзаменѣ же ихъ всѣ перепуталъ и произвелъ этимъ великій конфузъ.—За экзаменомъ послѣдовалъ актъ, потомъ торжественный обѣдъ; десятка два студентовъ назначены были являться во время этой трапезы и, не участвуя въ ней, выпить за чье-то здоровье бокалъ не настоящаго,

конечно, Шампанскаго, а доморощеннаго, Горскаго. Передъ этимъ обѣдомъ на торжественномъ засѣданіи университета профессора читали рѣчи, новопроизведеннымъ студентамъ раздавались шпаги, и я получилъ отъ попечителя свою. Имена наши напечатаны были въ Московскихъ Вѣдомостяхъ.

Къ концу 1817 года рѣшено было мною ѣхать въ Кишиневъ, главный городъ Бессарабской области, чтобы тамъ занять приготовленное мнѣ мѣсто въ гражданской канцеляріи полномочнаго намѣстника, Бахметева. Выйти изъ Университета кандидатомъ было невозможно за приостановкой всѣхъ экзаменовъ, и я началъ свои обѣзды профессоровъ для испрошенія у нихъ аттестатовъ. Всегда отличавшій меня Саудуновъ далъ мнѣ длинный, краснорѣчивый отзывъ о моихъ юридическихъ свѣдѣніяхъ и благословилъ на вступленіе въ государственную службу, обѣщая великіе успѣхи на этомъ поприщѣ. Человѣкъ былъ онъ умный, а пророкъ вышелъ плохой. Профессоръ латинской словесности упрасивалъ меня никогда не оставлять древней литературы, и это не удалось. Всѣ прочіе, а особливо Мерзляковъ, Каченовскій, и съ своимъ славянскимъ языкомъ, Гавриловъ отозвались благосклонно, но вотъ что было у меня съ Шлецеромъ. Онъ жилъ на Дѣвичьемъ полѣ во флигерѣ дома князя Щербатова, гдѣ теперь

живеть Погодинъ. Лихо подвезъ меня къ нему красивый мой кучеръ, Михайло, на великолѣпной парѣ. Какой-то пожилой человѣкъ сидѣлъ на крыльцѣ, я, съ презрительной отвагой, спросилъ у него: „туть-ли живеть г-нъ Шлецеръ?“ Онъ смиренно ввелъ меня въ первую комнату и оказался самимъ профессоромъ. Во всѣ три года былъ я у него всего разъ пять, а потому и не узналъ его, Шлецеръ же и совсѣмъ меня не зналъ; началъ справляться по своимъ листамъ и не находилъ моего имени. Онъ всегда былъ какимъ-то запуганнымъ и съ товарищами своими и съ студентами, и, „не смѣя“, какъ онъ выразился, обижать меня сомнѣніемъ въ посѣщеніи лекцій и незнаніи его предмета, далъ мнѣ отличный аттестатъ. Честный человѣкъ былъ этотъ нѣмецъ. — Ободренный такимъ неожиданнымъ успѣхомъ, отправился я за аттестатомъ къ профессору физики, Двигубскому, котораго лекціи посѣщаль я очень рѣдко, а изъ физики его не зналъ ни аза; у него встрѣтилъ я пріемъ другого рода. „Я, любезный мой, тебя совсѣмъ не знаю“. — Позвольте посмотреть въ спискахъ. — „На что мнѣ списки? Приходи-ка завтра на лекцію, я тебя проэкзамению“. Дѣло плохо! Мнѣ не хотѣлось оставаться безъ аттестата въ физикѣ, и я поднялся на штуки: пошелъ въ палаты казенныхъ студентовъ, обратился къ старшимъ

и лучшимъ физико-математическаго факультета и просилъ у нихъ совѣта и помощи. Они отвѣчали: „Приготовляться тебѣ къ экзамену некогда, ты вѣдь ничего не знаешь, и какъ угадать, о чемъ онъ спросить? Садись на первой лавкѣ съ нами двумя, и мы будемъ тебѣ подсказывать„. Не безъ страха вошелъ я на другой день въ обширнѣйшую изъ всѣхъ нашихъ аудиторій и сѣлъ между двумя покровителями. Передъ кафедрой на длинномъ столѣ стояли какія-то стеклянныя банки; покровители сказали мнѣ, что это Лейденскія. Профессоръ, усѣвшись, вызвалъ меня и началъ спрашивать именно объ этихъ лейденскихъ банкахъ, я могъ ему отвѣчать только о банкахъ съ вареньемъ и очень смутно, сбивчиво, безтолково и несвязно повторялъ слова, которыя мнѣ на ухо повторяли мои покровители. „Да ты, мой другъ, ровно ничего не знаешь и не можешь отвѣчать, хоть тебѣ и подсказываютъ; стань-ка передъ столомъ и объясни мнѣ самый простой опытъ, какъ заряжаютъ эти банки?“ Я подошелъ къ столу. „Ну что-же?“ Тутъ слышно было одно молчаніе. Молоденькіе студентики начали смѣяться, и профессоръ рѣшительно объявилъ, что аттестата мнѣ никакого не будетъ и чтобы я удалился. Мнѣ стыдно было выдти послѣ такого пораженія и я, подходя къ выходной двери, надѣлъ шляпу и громко сказалъ: „Да

мнѣ аттестата вашего и не нужно, у меня и безъ него много“. Подобная выходка чуть чуть не оставила меня совсѣмъ беза аттестата. **Покровительствовавшіе мнѣ профессора** вступились за меня у ректора Антонскаго, и **сей великій мужъ**, такой же невѣжда-профессоръ по всѣмъ предметамъ, какимъ я былъ въ физикѣ, уговорилъ Двигубскаго дать мнѣ и отъ себя аттестатъ.— Антонскій читаль, но очень рѣдко, и то оставаясь на кафедрѣ по четверти часа, сельское хозяйство и какую-то Энциклопедію, и рѣшительно не смыслилъ ничего въ этихъ двухъ наукахъ, если онѣ — науки, но имъ дорожили, какъ главнымъ директоромъ университетскаго благороднаго пансіона, въ которомъ подъ его великимъ руководствомъ воспиталось и образовалось нѣсколько поколѣній, какъ-то Блудовъ, Дашковъ, Жуковскій, братья Тургеневы, князь Одоевскій, Шевыревъ, Титовъ и другіе.



Изъ записокъ С. М. Соловьева.

I.

...Гимназія и вообще Московскій округъ ждали человѣка для своего преобразованія, очищенія, и дождались: по просьбѣ Голицына онъ былъ избавленъ отъ попечительства, и на его мѣсто былъ назначенъ графъ Сергѣй Григорьевичъ Строгановъ. Приѣхалъ новый попечитель, и, какъ по свистку въ театрѣ, декорации перемѣнились: въ классахъ порядокъ, благочиніе, тишина. Бывало прежде у нѣкоторыхъ учителей по слабѣе на передней лавкѣ ученики еще слушали кое что, на среднихъ разговаривали, а на заднихъ спали или въ карты играли: теперь кто и не хотѣлъ заниматься, сидѣлъ тихо и не мѣшалъ другимъ. Но главное — ученики и учителя пообчистились, отряхнулись, стали съ бѣльшимъ уваженіемъ смотрѣть на себя, на свои занятія.

Отчего же это произошло? Оттого, что явился начальникъ, какого никогда еще не бывало, человѣкъ дѣятельный, хотѣвшій сдѣлать въ своемъ вѣдомствѣ все какъ нельзя лучше и имѣвшій къ тому всѣ средства. Духъ добросовѣстнаго начальника сдѣлался присущъ каждому заведенію; Строгановъ поселилъ

всюду свой духъ, и этотъ духъ блюлъ за улучшеніемъ нравственнымъ и учебнымъ.

Всѣхъ осѣнила благодѣтельная мысль: чтобы заслужить вниманіе начальника, надобно какъ можно усерднѣе исполнять свою обязанность и только, не заботясь болѣе ни о чемъ; отъ начальника не скроется нерадѣніе, онъ не пощадитъ; и къ нему нельзя подольститься ничѣмъ другимъ, кромѣ усерднаго исполненія должности, кромѣ личныхъ достоинствъ. Къ Строганову можно было подольститься только тѣмъ, чѣмъ у другихъ начальниковъ подчиненный могъ только навлечь на себя вѣчную опалу.

Вотъ случай, который лучше всего опредѣляетъ взглядъ Строганова на отношенія подчиненныхъ къ начальнику. Однажды я былъ у него; пришелъ какой-то другой господинъ и началъ говорить объ одномъ чиновникѣ, служившемъ подъ начальствомъ Строганова. Послѣдній разсыпался въ похвалахъ этому чиновнику и кончилъ панегирикъ такъ:

— Что это за человѣкъ! Бывало, начну съ нимъ спорить, указывать ему, — не дастъ слова выговорить. Прекрасный, честный человѣкъ, крѣпкій въ своихъ убѣжденіяхъ!

Такой взглядъ всего рѣзче выдавался отъ того, что въ то время у большинства генераловъ, военныхъ и статскихъ, подчиненный могъ выиграть только лестью, поддакиваніемъ, самоуниженіемъ.

Чтобъ испытать твердость убѣжденій преподавателей, Строгановъ любилъ озадачивать, накидываться. Конечно, знавшему эти приемы и дѣйствительно крѣпкому въ своихъ ученыхъ или какихъ бы то ни было убѣжденіяхъ легко было осадить Строганова и этимъ снизить его уваженіе; но нѣкоторые неопытные попадались. Напримѣръ, онъ вдругъ спросилъ учителя физики:

— А въ какую сторону вертится ручка электрической машины?

Тотъ не сумѣлъ отвѣтить.

Но не должно думать, что подобное неумѣніе уже рѣшало судьбу преподавателя, опредѣляло окончательное мнѣніе попечителя о немъ. Важное достоинство Строганова заключалось въ томъ еще, что онъ старался долго, со всѣхъ сторонъ собирать о чловѣкѣ разные слухи и окончательно опредѣлять свое мнѣніе на основаніи мнѣнія большинства специальныхъ людей въ ученое отношеніи, и большинства порядочныхъ людей въ нравственномъ. Прийти къ Строганову съ рекомендательнымъ письмомъ отъ знатной дамы, отъ знатнаго господина — значило навсегда погубить себя въ его мнѣніи, никогда не получить отъ него мѣста.

Огромна была заслуга Строганова въ томъ отношеніи, что онъ уничтожилъ занятіе учебныхъ и воспитательныхъ мѣстъ по рекомендаці-

ямъ людей, неспособныхъ цѣнить рекомендуемыхъ. Его положеніе въ обществѣ и характеръ дѣлали для него это возможнымъ. Не извѣстно, какъ и гдѣ Строгановъ напитался съ молоду аристократическими понятіями. Потомокъ пермскаго колониста, именитаго чело-вѣка, Строгановъ явился самымъ сильнымъ поборникомъ аристократическихъ стремленій. Отсюда его мысль поднять высшее дворянское сословіе въ Россіи, дать ему средства поддержать свое положеніе, остаться навсегда высшимъ сословіемъ.

Самымъ сильнымъ для этого средствомъ въ его глазахъ было образованіе, наука—отсюда мысль, что люди, поставленные по происхожденію и богатству въ верхнемъ слоѣ обществѣ, должны учиться по преимуществу. Самъ онъ получилъ поверхностное образованіе, но благороднымъ инстинктомъ понялъ, что наука есть могущество; отсюда глубокое уваженіе къ наукѣ, интересъ ко всѣмъ явленіямъ науки и литературы.

Будучи попечителемъ, онъ любилъ выпытывать, высасывать изъ подчиненныхъ ему ученыхъ свѣдѣнія; но понятно, что получаемыя такимъ образомъ свѣдѣнія, при недостаткѣ первоначальнаго основательнаго ученія, неправильно громоздились въ его головѣ, вовсе не гениальной, дурно переваривались, часто странно скоплялись около нѣкоторыхъ люби-

мыхъ его мыслей. По дѣло было не въ правильности той или другой мысли попечителя, не въ томъ, что этотъ попечитель часто перепутывалъ событія, имена, лица по недостатку памяти и правильнаго, смолоду начатаго накопленія свѣдѣній; дѣло было въ томъ, что попечитель уважалъ мысль вообще, уважалъ науку, ставилъ выше всего честность, прямоту, благородство, таланты, трудолюбіе, святое исполненіе обязанностей, имѣлъ практической смыслъ, не увлекался первою мыслью, какъ бы она ни поразила его съ перваго раза своею вѣрностью и пользою въ примѣненіи, не довѣрялъ себѣ какъ безошибочному оцѣнщику, не довѣрялъ и другимъ, но выспытывалъ мнѣнія у многихъ авторитетныхъ людей посредствомъ спора, сравнивалъ эти мнѣнія.

Понятно, что у такого человѣка, какъ Строгановъ, было множество враговъ въ разныхъ слояхъ общества. Въ высшемъ, въ собственномъ его кругу, его вообще не любили за гордость. Дѣйствительно, онъ былъ гордъ съ равными себѣ по общественному значенію, ибо въ очень немногихъ признавалъ себѣ равныхъ: передъ различными выскочками онъ гордился своимъ происхожденіемъ, чистотою характера, благородствомъ во всѣхъ отношеніяхъ, предъ людьми равными ему по происхожденію онъ гордился своимъ образованіемъ, тѣмъ, что сохранилъ въ чистотѣ свое про-

исхожденіе, не пятналъ его раболѣпствомъ, выслуживаніемъ, чѣмъ пятнала себя большая часть равныхъ ему по происхожденію.

Дѣйствительно, онъ былъ гордъ, неуживчивъ. Сколько онъ былъ уступчивъ съ нами, людьми, которыхъ умственное превосходство онъ признавалъ, столько былъ неуступчивъ, гордъ, рѣзокъ съ людьми, которыхъ нравственнаго и умственнаго превосходства надъ собою онъ не считалъ себя обязаннымъ признавать, а другихъ превосходствъ никакихъ не признавалъ, ибо считалъ себя однимъ изъ первыхъ вельможъ въ имперіи.

Онъ былъ холоденъ, дикъ, малодоступенъ, скупъ. Последнее свойство, не знаю, крылось ли оно въ его природѣ, но крайней мѣрѣ, видимо оно проистекало изъ его убѣжденій. Государство сильно только аристократіею, думалъ онъ; но аристократія сильна не однимъ своимъ происхожденіемъ, особенно въ Россіи, гдѣ выходцамъ открыта такая свободная дорога. Аристократія поддерживается личными достоинствами членовъ своихъ, ихъ нравственными средствами; отсюда стремленіе усвоить образованіе, науку преимущественно для высшаго сословія. Но аристократія могущественно поддерживается также богатствомъ: отсюда стремленіе сохранить и увеличить богатство аристократической фамиліи.

Происходя самъ изъ бѣдной линіи Строгано-

выхъ, онъ пріобрѣлъ огромное имѣніе (слишкомъ 60000 душъ) за женою, единственной наследницею богатой линіи Строгановыхъ. Имѣніе было огромно, но обременено долгами; онъ долженъ былъ очищать его; это было новымъ побужденіемъ къ скупости. Наконецъ, имѣніе составляло майоратъ: всѣ эти 60000 слишкомъ душъ переходили къ старшему сыну, младшихъ должно было надѣлять деньгами, деньги должно было скопить—еще побужденіе къ скупости.

Но когда нужно было пріобрѣсти картину знаменитаго мастера, рѣдкую древнюю вещь, монету, или что бы то ни было, помочь бѣдному ученому издать свое сочиненіе, — тамъ Строгановъ не былъ скупъ. Для журнала, который мы собирались издавать въ 53 году, онъ давалъ намъ большую сумму денегъ, но мы не могли воспользоваться его предложеніемъ.

И такъ гордость, недоступность, скупость вооружали противъ Строганова многихъ людей его общества; стараніе очистить подчиненныхъ ему людей вооружило противъ него тѣхъ изъ нихъ, которымъ ужъ нельзя было очиститься, и которымъ было тяжело при немъ. Но для порядочныхъ людей какъ принадлежащихъ къ ученому вѣдомству, такъ и для всѣхъ тѣхъ, кому дорого было просвѣщеніе, управление Строганова Московскимъ учебнымъ

около было золотымъ временемъ. Не могу безъ глубокаго чувства благодарности вспомнить того освѣженія нравственной атмосферы, которое произошло, когда пріѣхалъ Строгановъ попечительствовать...

Помощникомъ Строганова былъ Дмитрій Павловичъ Голохвастовъ, человѣкъ, умѣвшій въ противоположность попечителю, заслужить самое невыгодное о себѣ мнѣніе въ университетѣ и обществѣ Московскомъ. Это былъ человѣкъ знающій, умный, честный и любившій честность въ другихъ, но умъ этого человѣка отличался особеннымъ складомъ, именно удивительною форменностью: мы, прочіе смертные, мыслимъ про себя и вслухъ, разговариваемъ и пишемъ, не обращая вниманія на самый процессъ нашего мышленія, на его форму; тогда какъ у Голохвастова все вниманіе было обращено на формы мышленія; въ разговорѣ своемъ онъ хлопоталъ только объ одномъ, чтобъ мысли являлись въ знакомой формѣ и чтобъ эта форменность, какъ можно яснѣе, обнаруживалась: отсюда разговоръ Голохвастова былъ крайне утомителенъ.

Если есть люди нестерпимые въ разговорѣ, тѣмъ что стараются дѣлать свою рѣчь укорашенною, что не скажутъ просто слова, если есть такіе фразеры нестерпимые

своей риторикой, то Голохвастовъ принадлежалъ къ числу людей, которые встрѣчаются гораздо рѣже, людей нестерпимыхъ своею логикою; эта логика въ его разговорѣ являлась столь же изысканною, бездушною, какъ риторика у фразеровъ.

При этомъ Голохвастовъ былъ страстный охотникъ говорить, т. е. затягивать мысли въ форменное платье, въ мундиръ и выводить ихъ на показъ: вотъ какъ онъ правильно и стройно вытекають одна изъ другой, связываются и равняются, хотя эта правильность и стройность были часто видимыя только; но Голохвастову не было до этого дѣла.

Въ исторической литературѣ нашей Голохвастовъ прославился замѣчаніями на исторію осады Троицкой Лавры, напечатанною въ „Москвитянинѣ“, блестящею критическою статьею. Говорили, что онъ пользовался здѣсь чужими трудами, и указывали на Забѣлина; но, зная хорошо Голохвастова, его приемы, я не усумнюсь приписать статью ему, по крайней мѣрѣ главное въ статьѣ, построение ея, принадлежитъ ему. По политическимъ убѣжденіямъ своимъ Голохвастовъ былъ сильный охранитель: ему очень нравился существующій порядокъ вещей, дисциплина, чиновочитаніе. Онъ много занимался исторіей своей фамиліи, собралъ и издалъ акты, хранившіеся въ фамильномъ ар-

хивъ. Замѣчанія на исторію Троицкой осады написалъ онъ для того, чтобы защитить честь своего предка отъ навѣтовъ Палицына.

Когда я однажды въ разговорѣ съ нимъ упомянулъ объ этой статьѣ, то онъ съ самодовольнымъ видомъ сказалъ: „*pro domo sua pugnavimus!*“

Но при этомъ въ Голохвастовѣ не было ничего аристократическаго; въ немъ была только русская барская спѣсь, что особенно и отталкивало отъ него университетскихъ подчиненныхъ, избалованныхъ Строгановымъ. Голохвастовъ платилъ Университету тою же монетой.

Будучи помощникомъ попечителя; а потомъ попечителемъ, онъ ненавидѣлъ университетъ, считалъ его учрежденіемъ опаснымъ для существующаго порядка вещей и не скрывалъ этихъ мнѣній своихъ, не совѣтовалъ никому отдавать сыновей своихъ въ университетъ и говорилъ, что своихъ никогда не отдастъ туда, что всѣ дворяне должны служить въ военной службѣ, что предки ихъ служили за помѣстья, когда же помѣстья были превращены въ вотчины, то этимъ самымъ обязанность служить въ военной службѣ не снялась, а напротивъ удвоилась.

Своими понятіями и обращеніемъ Голохвастовъ болѣе чѣмъ кто либо другой напоминалъ русскаго барина XVII или начала XVIII

вѣка, надѣвшаго европейское платье, усвоившаго себѣ даже европейскую науку, европейскіе языки, но въ сущности оставшагося вѣрнымъ старинѣ. Неуваженіе его къ подчиненнымъ, или по крайней мѣрѣ къ большинству ихъ, было возмутительно. Особенно дурную славу приобрѣлъ онъ при управленіи округомъ между попечительствомъ Голицына и Строганова, когда онъ сообразно характеру своему строгостями, отдачею студентовъ въ солдаты хотѣлъ сдѣлать то, что при Строгановѣ сдѣлалось само собою, безъ всякихъ насильственныхъ мѣръ, черезъ одно вліяніе благородной личности начальника,—именно исправленіе студенческихъ нравовъ.

При Строгановѣ Голохвастовъ былъ предсѣдателемъ цензурнаго комитета, и здѣсь явился притѣснителемъ; особенно его строгость возбуждала негодованіе въ сравненіи съ Петербургской цензурой, отличавшейся тогда свободой.

Наконецъ въ наружности Голохвастова было много отталкивающаго: его фигура выражала снѣсъ, натянутость, форменность, это была фигура красиваго рисующагося квартальнаго, который понимаетъ свое высокое значеніе въ публичномъ гуляньи предъ толпою черни.

Голохвастовъ былъ извѣстенъ своимъ конскимъ заводомъ; на скачкахъ славилась его великолѣпная лошадь Бычокъ, и вотъ изъ университетскихъ стѣнъ явилась эпитафия:

Вмѣсто Шеллинговъ и Астовъ
И Пегаса старичка,
Дмитрій Павлычъ Голохвастовъ
Объѣзжаетъ намъ Бычка.

Ректоромъ былъ—М. Т. Каченовскій. Объ ученomъ значеніи этого челоvѣка я не буду распространяться, потому что исчерпалъ этотъ предметъ въ біографіи Каченовскаго, напечатанной мною въ „Біографическомъ словарѣ“ профессоровъ университета, изданномъ по случаю столѣтняго юбилея. Въ то время, какъ я былъ въ университетѣ и слушалъ Каченовскаго, это уже былъ старикъ ветхій; читалъ онъ уже не русскую исторію, а славянскія нарѣчія, предметъ, при разработкѣ котораго онъ не могъ оказать ученыхъ заслугъ ни по лѣтамъ, ни по приготовленію своему.

Скептицизмъ проглядывалъ и тутъ при каждомъ удобномъ случаѣ.

Любопытно было видѣть этого маленькаго старичка съ пергаментнымъ лицомъ на каеэдрѣ: обыкновенно читалъ онъ медленно, однообразно, утомительно: но какъ скоро явится возможность подвергнуть сомнѣнію какойнибудь памятникъ письменности славянъ или какое нибудь извѣстіе, — старичекъ вдругъ оживится, и засверкаютъ подъ сѣдыми бровями каріе глаза, составлявшіе единственную красоту его невзрачнаго лица.

Сохранилось у меня въ памяти одно изъ свидѣтельствъ, приведенныхъ Каченовскимъ противъ надписи на Тмутараканскомъ камнѣ: „да вотъ и Государь Императоръ Николай Павловичъ какъ взглянулъ на нее, такъ и сказалъ: это должно быть подложная надпись“.

Каченовскій могъ служить лучшимъ опроверженіемъ мнѣнію, что ученый скептицизмъ ведетъ необходимо къ религіозному и политическому: не было человѣка болѣе консервативнаго въ томъ и другомъ отношеніи.

Скептицизмъ научный отражался впрочемъ въ жизни Каченовскаго мнительностью, крайней осторожностью, чрезмѣрнымъ страхомъ передъ отвѣтственностью: такъ напримѣръ онъ никогда не бралъ на домъ книгъ изъ университетской бібліотеки, боясь, чтобы онѣ какъ нибудь непредвидѣннымъ образомъ не пропали у него. Каждое дѣло, каждая бумага по управленію встрѣчала съ его стороны возраженія „да какъ же это такъ?“ да зачѣмъ же это такъ?“ и т. п.

Во всѣхъ отношеніяхъ общественной, служебной жизни своей Каченовскій былъ честный человѣкъ. Полемика его противъ Карамзина и Пушкина доставила ему много враговъ. Рассказывали, что Императоръ Николай Павловичъ при выборѣ инспектора классовъ къ Наслѣднику обратилъ вниманіе на Каченовскаго, говоря, что уважаетъ этого ученаго,

по жѹрналѹ котораго онѹ выучился читать по русски, но поклонники Карамзина помѣшали Каченовскому, выставивъ на видѹ его вредное направленіе, скептицизмъ, чѣмъ, разумѣется, легко могли смутить охранительнѣйшаго Императора.

По поводу Пушкина профессоръ Крюковъ рассказывалъ любопытный разговоръ свой съ Каченовскимъ: зашла рѣчь о языкѣ, которымъ должна писаться исторія; Каченовскій, какъ слѣдуетъ ожидать, вооружился противъ украшеннаго слога, противъ реторики, поднимающей на ходули событія и лица, при чемъ сказалъ:

— Одинъ только писатель у насъ могъ писать исторію простымъ, но живымъ и сильнымъ, достойнымъ ея, языкомъ—это Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ, давшій превосходный образецъ историческаго изложенія въ своей исторіи Пугачевского бунта.

Конечно, этотъ отзывъ былъ произнесенъ по смерти Пушкина. Конечно, по смерти также Карамзина Каченовскій написалъ разборъ его XII тома; но всякій ли способенъ и по смерти врага сдѣлаться безпристрастнымъ въ отношеніи къ нему, у всякаго ли хватитъ духа похвалить и умершаго врага?

Подъ старость Каченовскій уже не могъ продолжать полемики съ Погодинымъ, который, однако, не переставалъ нападать на

него и по обычаю своему позволялъ себѣ грубыя выраженія на его счетъ. Старика это сильно оскорбляло, со слезами на глазахъ онъ жаловался на оскорбленія и на невозможность отвѣчать оскорбителю, который трубить побѣду. Сильно оскорбляло также старика стремленіе все ославятить, сдѣлать славянъ древнѣйшимъ и славнѣйшимъ народомъ міра. Не имѣя самъ средствъ ратовать противъ этого, по его мнѣнію, вреднаго и нелѣпаго направленія, Каченовскій приглашалъ молодого Грановскаго образумить ослѣпленыхъ; но Грановскій отказался подвизаться на столь неблагодарномъ поприщѣ.

Давыдовъ читалъ теорію словесности, Шевыревъ исторію литературы всеобщей и русской. Шевыревъ наконецъ пріѣхалъ изъ за границы, мы перешли къ нему отъ Давыдова и попали изъ огня въ полымя. Давыдовъ изъ ничто умѣлъ сдѣлать содержаніе лекціи, Шевыревъ богатое содержаніе умѣлъ превратить въ ничто, изложеніе богатыхъ матеріаловъ умѣлъ сдѣлать нестерпимымъ для слушателей своимъ фразерствомъ и безталаннымъ проведеніемъ извѣстныхъ воззрѣній...

Въ сущности это былъ добрый человекъ, не лѣнивый сдѣлать добро, оказать услугу, готовый и трудиться много; но эти добрыя

качества заглушались мелочностью, завистливостью, непомѣрнымъ честолюбіемъ и самолюбіемъ... Самой грубой лести было достаточно, чтобы вскружить ему голову и сдѣлать его покорнымъ орудіемъ для всего; но стоило только немного, намѣренно или ненамѣренно затронуть его самолюбіе, — и этотъ добрый мягкій человѣкъ становился звѣремъ, готовъ былъ васъ растерзать, и дѣйствительно растерзывалъ, если жертва была слаба.. Но, если она выставляла сильный отпоръ, то Шевыревъ долго не выдерживалъ и являлся съ братскимъ христіанскимъ поцѣлуемъ.

Эта задорливость, соединенная съ слабостью, всего болѣе раздражала противъ Шевырева людей крѣпкихъ, вселяла въ нихъ къ нему презрѣніе. Хороши стихи, написанные на Шевырева Каролиною Павловою, хотя они далеко не опредѣляютъ вполнѣ его характера.

Преподаватель христіанскій
Онъ вѣрой твердъ, душею чистъ;
Не злой философъ онъ германскій,
Не беззаконный коммунистъ;
И скромно онъ по убѣжденью
Себя считаетъ выше всѣхъ,
И тягостенъ его смиренію
Одинъ лишь ближняго успѣхъ.

Основа недостатковъ Шевырева заключалась въ необыкновенной слабости природы, природы женщины, ребенка, въ необыкновенной способ-

ности опьяняться всѣмъ, въ отсутствіи всякой самостоятельности. Нельзя сказать, чтобъ онъ въ началѣ не обнаружилъ и таланта; но этотъ талантъ данъ былъ ему въ чрезвычайно маломъ количествѣ, какъ то очень некрѣпко въ немъ держался, и онъ его сейчасъ израсходо-валъ, запахъ исчезъ, остался какой-то при-торный выпѣвъ. Шевыревъ, какъ былъ слабъ предъ всякимъ сильнымъ вліяніемъ нравствен-но, такъ былъ физически слабъ передъ виномъ, и какъ немного охмѣлѣеть, то сейчасъ рас-таетъ и начнетъ говорить о любви, согласіи, братствѣ, и о всякаго рода сладостяхъ; сна-чала, въ молодости, и это у него выходило иногда хорошо, такъ что однажды Пушкинъ, слушая пьянаго оратора, проповѣдующаго до-вольно складно о любви, закричалъ: „Ахъ, Шевыревъ, зачѣмъ ты не всегда пьянь?“

Отъ Шевырева пріятно перейти къ профес-сору, который произвелъ на меня самое силь-ное впечатлѣніе на первомъ курсѣ, именно къ Крюкову. Крюковъ, когда я вступилъ въ университетъ, читалъ латинскій языкъ на трехъ старшихъ курсахъ и древнюю исторію на пер-вомъ. У Крюкова, какъ и у всѣхъ самыхъ даровитыхъ профессоровъ русскихъ, но зани-мающихся науками, разработанными на запа-дѣ, не было самостоятельности; онъ пользо-

вался результатами, добытыми германскими учеными, своими учителями, читал преимущественно подь вліяніемъ Гегеля, но у Крюкова былъ блестящій талантъ въ изложеніи, блестящій и вмѣстѣ твердый, недопускавшій фразы, представлявшій этимъ противоположность Шевыревскому таланту.

Крюковъ, можно сказать, бросился на насъ, гимназистовъ, съ огромною массою новыхъ идей, съ совершенно новою для насъ наукою, излагалъ ее блестящимъ образомъ и, разумѣется, ошеломилъ насъ, взбудоражилъ наши головы, вспахалъ, взборонилъ ихъ, такъ сказать, и потомъ посѣялъ хорошими сѣменами, за что и вѣчная ему благодарность. Со второго курса мы слушали его уже, какъ профессора латинской словесности; и здѣсь онъ былъ превосходенъ, обладая въ совершенствѣ латинской рѣчью и силою своего таланта возбуждая въ насъ интересъ къ экзегезису, столь важному для изученія отечественныхъ памятниковъ. Привлекательности рѣчи Крюкова, какъ латинской, такъ и русской, помогала очень много необыкновенно пріятный звучный органъ, на которомъ онъ очень искусно умѣлъ играть, какъ на инструментѣ; до сихъ поръ (29 мая 1855 г.) я еще не встрѣчалъ человѣка, который бы умѣлъ такъ играть на своемъ голосѣ, приводить его въ такую гармонию съ мыслию, съ рассказомъ

своимъ. Нѣкоторыя лекціи, напримѣръ о Тацитѣ, онъ потомъ напечаталъ, но въ книгѣ это было уже не то, потому что обаяніе уха исчезло.

Когда перешли на второй курсъ, то пріѣхалъ изъ за границы Грановскій, начавшій чатать среднюю и новую исторію. Грановскій, какъ и Крюковъ, не былъ самостоятеленъ, былъ поклонникомъ того же Гегеля, но былъ художникъ первокласный въ историческомъ изложеніи. Между талантомъ Крюкова и талантомъ Грановскаго была такая же большая разница, какъ и между ихъ наружностью. Крюковъ имѣлъ чисто великороссійскую фізіономію: круглое полное лицо, бѣлый цвѣтъ кожи, свѣтло-русые волосы и свѣтло-каріе глаза. Талантъ его болѣе поражалъ съ внѣшней стороны, поражалъ музыкальностью голоса, изящною обработкою рѣчи, къ нему какъ нельзя болѣе шло прилагательное *elegantissimus*, какъ мы студенты его величали. Но при этой элегантности, щегольствѣ въ немъ самомъ, въ его рѣчи, въ чтеніяхъ было что то холодное; его рѣчь производила впечатлѣніе, какое производитъ художественное изваяніе.

Грановскій имѣлъ малороссійскую, южную фізіономію; необыкновенная красота его производила сильное впечатлѣніе не на однѣхъ

женщинъ, но и на мужчинъ. Своею наружностью онъ всего лучше доказывалъ, что красота есть завидный даръ, очень много помогающій человѣку въ жизни. Онъ имѣлъ смуглую кожу, длинные черные волосы, черные, огненные, глубоко смотрящіе глаза.

Онъ не могъ, подобно Крюкову, похвастать внѣшнею изящностью своей рѣчи: говорилъ онъ очень тихо, требовалъ напряженнаго вниманія, заикался, глоталъ слова. Но внѣшніе недостатки исчезали передъ внутренними достоинствами рѣчи, передъ внутренней силой и теплотою, которыя давали жизнь историческимъ лицамъ и событіямъ и приковывали вниманіе слушателей къ этимъ живымъ, превосходно очерченнымъ лицамъ и событіямъ.

Если изложеніе Крюкова производило впечатлѣніе, какое производятъ изящныя изваянія, то изложеніе Грановскаго можно сравнить съ изящною картиною, которая дышетъ теплотою, гдѣ всѣ фигуры ярко расцвѣчены, живутъ, дѣйствуютъ предъ вами. И въ общественной жизни между этими двумя людьми замѣчалось то же различіе: оба были благороднѣйшіе люди, превосходные товарищи. Но Крюковъ могъ внушать къ себѣ только большее уваженіе, не внушая сильной сердечной привязанности, ибо въ немъ было что то холодное, сдерживающее. Въ Грановскомъ же была неотразимая притягательная сила, кото-

рая собрала около него многочисленную семью молодых и немолодых людей, но что всего важнѣе, людей порядочныхъ, ибо съ увѣренностью можно сказать, что тотъ кто былъ врагомъ Грановскому, любилъ отзываться о немъ дурно, былъ человѣкъ дурной.

Я сказалъ, кто любилъ отзываться о немъ дурно, ибо и люди самые привязанные къ нему должны были съ горемъ порицать его въ глаза и за глаза: лѣнь заставляла его закапывать свой блестящій талантъ. Съ необыкновенной легкостью проглатывая чужое и претворяя это чужое въ свою собственность, Грановскій съ величайшимъ трудомъ могъ заставить себя взять перо въ руки. Онъ оправдывалъ себя передъ собой и передъ другими тѣмъ, что нельзя было ничего печатать благодаря русской цензурѣ, особенно съ 1848 по 1855 г., но это оправданіе не удовлетворяло ни другихъ, ни его самого: печатать было можно и въ это трудное время, еще легче было печатать прежде и послѣ него...



Первые дни въ университетѣ.

(Отрывокъ изъ воспоминаній А. П. Кирпичникова).

Лекціи въ Московскомъ университетѣ, въ 1861 г., начались правильно и аккуратно 1-го сентября, такъ какъ были нѣкоторыя основанія полагать, что ихъ будетъ посѣщать Наслѣдникъ Цесаревичъ, только окончившій свои частныя занятія съ профессорами: Буслаевымъ, Соловьевымъ, Бабстомъ и др. Я уже наканунѣ успѣлъ и внести плату (25 рублей за полугодіе), и получить видъ на жительство и входной билетъ, и даже приобрести росписание лекцій.

Я поступилъ въ университетъ изъ первой московской гимназіи, гдѣ окончилъ курсъ съ золотою медалью. Казалось бы, это были достаточно благопріятныя условія, чтобы чувствовать себя подготовленнымъ къ слушанію лекцій. Не тутъ-то было: я даже и въ росписаніи лекцій словеснаго факультета очень мало понималъ, такъ какъ нашелъ тамъ массу словъ, смыслъ которыхъ былъ для меня крайне темень: политическая экономія, статистика, славянское народописаніе, сравнительная грамматика славянскихъ нарѣчій, древности, конферсаторій и пр. Даже мнѣ на первомъ курсѣ и въ первый же день предстояло выслушать

лекцію латинской стилистики; а въ чемъ могла состоять эта наука, я не имѣлъ ни малѣйшаго представленія. Дѣло въ томъ, что, не смотря на свою золотую медаль и на то, что я учился у хорошихъ учителей, большей частію получившихъ образованіе въ томъ же Московскомъ университетѣ, въ отношеніи всякой университетской науки я былъ совершеннымъ невѣждою: мнѣ едва только минуло 16 лѣтъ; у меня не было ни одного знакомаго студента, да и самая программа тогдашней семикласной гимназіи насъ къ филологіи совсѣмъ не подготовляла. Погречески мы вовсе не учились; полатыни мы имѣли съ IV по VII класъ включительно 4 урока въ недѣлю; даже древне-славянской грамматики мы не проходили и объ исторіи родного языка не имѣли нисколько понятія. Откуда же у меня и у нѣсколькихъ моихъ товарищей могла явиться дерзкая мысль идти на филологическій факультетъ? Во первыхъ, у насъ были очень хорошіе учителя исторіи и словесности. Нашъ историкъ (давно уже покойный Собчаковъ) былъ хорошъ во всѣхъ смыслахъ: живо рассказывалъ, умно спрашивалъ, выбиралъ лучшіе учебники и поощрялъ насъ къ чтенію историческихъ книгъ, такъ что Робертсонъ, Прескоттъ, Маколей, Тъери, Соловьевъ въ VII классѣ были для насъ уже свои люди. Словесникъ, нашъ любимѣйшій учитель, былъ

хорошъ только для насъ: исполняя кое-какъ для проформы программу по плохимъ и отста-
лымъ министерскимъ учебникамъ, онъ читалъ
съ нами и Шекспира, и Шиллера, и Бѣлин-
скаго; толковалъ съ нами и о былинахъ, и о
гомеровскомъ вопросѣ; устраивалъ для насъ
литературные вечера, для которыхъ мы испи-
сывали кипы бумаги, разбирая Рудина и
опредѣляя генезисъ фразерства на Руси. Какъ
же было послѣ этого не стремиться къ изу-
ченію словесныхъ и историческихъ наукъ?

Кромѣ того, я лично былъ очень привя-
занъ къ добрѣйшему и ученѣйшему (хотя и
на старинный ладъ) учителю латинскаго язы-
ка Якову Васильевичу Смирнову, который
выучилъ меня довольно бѣгло читать Ци-
церона, прочелъ съ нами десятокъ одъ Го-
рація и даже предложилъ желающимъ даромъ
учиться у него послѣ классовъ по гречески.
Мы въ количествѣ 5—6 человекъ оставались
очень охотно, много шалили и болтали, а
погречески и выучились только читать и кое-
какъ узнавать главнѣйшія формы. Въ универ-
ситетскую жизнь я былъ посвященъ настолько
мало, что накануне начала лекцій напрасно
ломалъ себѣ голову надъ расписаніемъ, ста-
раясь опредѣлить значеніе сокращеній при
именахъ профессоровъ: и. д. о. п., и. д. э.
о. п. (исправляющій должность ординарнаго
или экстраординарнаго профессора), и. д. а.,

пр. и т. д. Даже часы лекцій: X, XI и пр., я не такъ понялъ и пропустилъ первую лекцію Буслаева, думая, что она будетъ отъ 10 часовъ, тогда какъ она читалась въ 10-мъ часу, и это была моя первая непріятность въ университетѣ.

За то сколько мнѣ предстояло пріятностей въ этотъ же первый день моей новой жизни, 1 сентября 1861 года! Какъ сейчасъ, помню многія мелкія подробности. 2-й часъ читалъ тотъ же Буслаевъ „Древнюю русскую словесность“ въ большой словесной аудиторіи. Отыскавъ послѣднюю съ помощью кого-то изъ старыхъ студентовъ, я вошелъ въ ея „святыя стѣны“, отражавшія когда-то звукъ голоса Грановскаго, выдавшія въ себѣ Пушкина, нашелъ въ ней толпу до 300 человекъ (Буслаева были обязаны слушать и, дѣйствительно, охотно слушали—и юристы и математики) и почувствовалъ себя членомъ какого-то священнаго ордена, на который, какъ мнѣ казалось, вся Россія взираетъ съ ожиданіемъ всевозможныхъ благъ. Правда, мои почтенные собратья, повидимому, вовсе не были проникнуты чувствомъ собственнаго достоинства и представляли толпу весьма шумную и неструю; въ этомъ именно году была отмѣнена форма, и ее было только дозволено донашивать еще одинъ годъ; но въ 16 лѣтъ шумная веселость кажется вездѣ умѣстною.

Великую радость доставляло мнѣ и неиспытанное до тѣхъ поръ чувство свободы въ средѣ товарищей. Гимназистомъ я бывалъ своденъ дома; но тамъ было скучно, потому что я былъ одинъ; въ гимназіи была жизнь, были товарищи, но не было свободы; всякій мой шагъ былъ регулированъ надзирателями и инспекторомъ. Теперь я самъ пришелъ на лекцію, потому что захотѣлъ; если я уйду отъ нея, никто мнѣ не поставитъ abs'a, никто не потребуетъ отъ меня отчета. Я буду заниматься, чѣмъ хочу и сколько хочу. Даже за порядкомъ въ этой огромной толпѣ никто не смотритъ; она шумитъ, какъ море; но вотъ у дверей показался профессоръ, и она сама своею волею затихла, будто въ церкви.

Профессоръ пришелъ не спрашивать, не урокъ задавать; онъ, учитель нашего любимого учителя, первый въ Россіи научный авторитетъ въ своей области, будетъ намъ излагать самое послѣднее слово науки! Какъ не закружится отъ гордости и самодовольства голова 16-ти-лѣтняго юноши?

И моя голова закружилась настолько, что первой половины лекціи я совсѣмъ не могъ понять, хотя она трактовала о предметѣ, мнѣ нѣсколько знакомъ, — о былинахъ Владимирова цикла. Когда же я успѣлъ, наконецъ, сосредоточить свое вниманіе, форма изложенія Буслаева оказалась такъ изящна и въ то же

время, такъ сказать, внушительна, что, слѣдя за нею и наслаждаясь ею, я опять таки упустилъ изъ виду часть содержанія.

Вотъ лекція кончилась; профессоръ сошелъ съ кафедры, и толпа студентовъ окружила его. Я тоже примкнулъ къ ней, хотя и не могъ понять, откуда можно набраться такой смѣлости, чтобы заговорить съ знаменитымъ ученымъ. Да и о чемъ можно студенту заговорить съ нимъ?

Оказалось что рѣчь идетъ о позволеніи литографировать его лекціи; Буслаевъ ничего не имѣлъ противъ этого и предложилъ будущимъ антрепренерамъ списывать его лекціи у него на дому (онъ читалъ по писанному) по пятницамъ, вечеромъ.

— Да и вообще, господа,— сказалъ онъ, возвышая голосъ,—если кто пожелаетъ получить какія либо разъясненія, указанія, совѣты относительно занятій, милости прошу ко мнѣ по пятницамъ, отъ 6-ти до 10-ти часовъ, съ слѣдующей же нѣдѣли.

Господи! подумалъ я, какъ счастливы будутъ тѣ, у кого найдется достаточно смѣлости, чтобы воспользоваться этимъ приглашеніемъ. Но я ни за что не пойду: куда мнѣ съ моей малограмотностью! Вдругъ Буслаевъ спросить что нибудь изъ своихъ лекцій, а я одну пропустилъ, а изъ другой почти ничего не понять.

Послѣ Буслаева, въ той же аудиторіи, почти при томъ же громадномъ количествѣ слушателей, читаль профессоръ богословія Сергіевскій, красивый священникъ, съ необыкновенно мягкимъ, симпатичнымъ голосомъ. Но я уже успѣлъ откуда-то узнать, что богословіе навѣрно будетъ издаваться, и что это предметъ не факультетскій; постоялъ у дверей, выслушалъ первую фразу: „Богословіе есть наука о Богѣ; это слишкомъ обще, но пока довольно“, и юркнулъ вмѣстѣ съ 2 — 3 другими студентами за дверь, съ намѣреніемъ промыслить себѣ гдѣ нибудь завтракъ.

Въ корридорѣ я встрѣтилъ товарища, который черезъ брата имѣлъ связи съ старыми студентами, и отъ него узналъ, что самый доступный способъ удовлетворенія голода — путешествіе за пирогами „подъ скрипку“, куда онъ и свелъ меня.

Конечно, по существу между скрипкой и пирогами общаго ничего не было: надъ маленькой калиткой одного дома, кажется, въ Долго-руковскомъ переулкѣ, была на вывѣскѣ скрипка, а во дворѣ было заведеніе, гдѣ приготовлялись такъ называемые „городскіе“ пироги съ мясомъ, рисомъ и проч., а также и съ вареньемъ, по 5 копеекъ пара. Помѣщенія для потребителей на мѣстѣ никакого не было, была просто кухня съ невыносимымъ чадомъ отъ вѣчнокипящаго масла, въ которомъ въ $\frac{1}{4}$

минуты, если не меньше, приготавлился пирогъ. Мы поглощали эту страшно горячую снѣдь безъ посредства какихъ либо орудій, кромѣ собственныхъ пальцевъ, и стоя въ полной аммуниці, какъ еврей—пасхальнаго агнца. Неудобно, но за то дешево и сытно, а главное весело. Одно было не хорошо, далеко, въ 20 минутъ не успѣешь повернуть, въ особенноти, если нѣтъ готовыхъ пироговъ, а насъ придетъ много. Въ слѣдующемъ году одинъ изъ университетскихъ служителей на „математическомъ подъѣздѣ“ (на лѣвомъ боковомъ, если стоять лицомъ къ новому зданію университета) сталъ удачно соперничать со „скрипкой“, пироги у него были гораздо хуже, но что за важность!

Первый часъ (отъ 12—1 часу) читалъ выше-сказанную латинскую стилистику пр. (то-есть преподаватель) Клинь въ „юридической внизу“, исключительно для филологовъ 1-го курса. Юридической называлась (а, можетъ быть, и до сихъ поръ называется) эта крохотная темноватая аудиторія со сводами, какъ *locus a non lucendo*, оттого, что именно въ ней юристы никогда ничего не слушали ¹⁾.

Вернувшись въ университетъ изъ „подъ скрипки“, минутъ за 20 до начала лекціи, я

¹⁾ Названіе, безъ сомнѣнія, сохранилось отъ древнихъ временъ, когда юристовъ или политиковъ, какъ ихъ тогда называли, было очень мало.

рѣшили предварительно розыскать эту аудиторію (надписей надъ аудиторіями не полагалось) и обратился къ студенту, который одиноко прохаживался по корридору; виць-мундиръ на немъ былъ щегольской, но не новый; очевидно, это былъ не первокурсникъ.

— Позвольте узнать, гдѣ находится „юридическая внизу“?—спросилъ я его съ почти-тельнымъ поклономъ.

— Сейчасъ же въ концѣ корридора направо, пойдемъ-те, я васъ проведу къ ней. А вы— 1-го курса филологъ? Кого тамъ будете слушать?

— Латинскую стилистику у г. Клина.

— А, знаю, я его также слушалъ, мы съ нимъ большіе пріатели. Позвольте познакомиться, я филологъ 4-го курса А., сынъ такого-то (и онъ назвалъ одинъ изъ высшихъ чиновъ университетской іерархіи), а вы?

Я назвалъ себя и былъ глубоко проникнутъ тѣмъ, что филологъ 4-го курса, почти кандидатъ, такъ запросто бесѣдуетъ со мной (не то, что въ гимназій, гдѣ ученикъ однимъ классомъ выше смотритъ на тебя, какъ Юпитеръ на лягушку), но былъ не мало удивленъ, что студентъ говоритъ, чей онъ сынъ, осуждать же его за это не осмѣлился.

— Клинь препотѣшный старикъ,— продолжалъ мой знакомый. — Онъ, надо вамъ сказать, нѣмецъ и водитъ дружбу съ нѣмцами.

Вотъ разъ профессоръ Армфельдъ и пригласилъ его къ себѣ обѣдать...

И. А. разсказалъ мнѣ длиннѣйшую исторію о какомъ-то обѣдѣ, который весь состоялъ изъ картофеля: супъ картофельный, пюре картофельное, жареный картофель, картофель съ сахаромъ и пр. Въ этой исторіи, на мой взглядъ, не было, что называется, ни складу, ни ладу, ни малѣйшаго остроумія, а разсказчикъ между тѣмъ усердно смѣялся. Очевидно, моя неподготовленность и молодость всему виною: не можетъ же быть, чтобы филологъ четвертаго курса, да еще сынъ профессора, былъ такъ глупъ. Или онъ меня дурачить, или въ его исторіи есть глубокій смыслъ и остроуміе, отъ меня скрытые.

Позднѣе дѣло разъяснилось. А., или „сахарная голова“, какъ его прозвали товарищи (дѣйствительно, черепъ его кверху суживался), единственный сынъ умнаго или во всякомъ случаѣ очень ловкаго человѣка, былъ добрый малый, но глупъ феноменально. Отецъ его, нажившій медицинской практикой небольшое состояніе, далъ ему отличное образованіе; онъ свободно говорилъ пофранцузски, понѣмецки (говорилъ, конечно, глупости), зналъ основательно оба древнихъ языка, и хорошіе учителя какъ-то въ него вдолбили другіе предметы гимназическаго курса. Отецъ его остроумно разчиталъ, что латынь и греческій.

которые тогда были въ такомъ загонѣ, могутъ помочь его сыну именно на филологическомъ факультетѣ, гдѣ къ тому же студентовъ вообще берегли изъ-за рѣдкости ихъ. Кромѣ того, какъ рассказывали, отецъ прибѣгалъ иногда и къ такой военной хитрости: когда сыну предстоялъ рискованный экзамень, онъ подсаживался къ экзаменатору и начиналъ съ нимъ интересный разговоръ, напримѣръ о предстоящихъ къ новому году наградахъ... Впрочемъ, можетъ быть, это и анекдотъ. А. кончилъ курсъ въ свое время, но только не кандидатомъ: онъ "срѣзался" на письменныхъ переводахъ, только недавно введенныхъ профессоромъ Леонтьевымъ; понимая значеніе cadaго отдѣльнаго слова, онъ кое-какъ переводилъ устно; а на бумагѣ полное отсутствіе смысла въ цѣломъ рѣзко бросалось въ глаза.

А. служилъ впоследствии и „при архивахъ“, и чиновникомъ особыхъ порученій при генералъ-губернаторѣ, и вездѣ его добродушная, но непроходимая глупость дѣлала его мишенью всевозможныхъ дурачествъ со стороны товарищей и предметомъ озлобленія для его начальства.

Но возвращаюсь къ 1-му сентября 1861 г. Занѣсколько минутъ до начала лекціи А. благосклонно отпустилъ меня въ „юридическую внизу“, гдѣ я со вниманіемъ сталъ осматривать своихъ будущихъ товарищей. Насъ

было всего человѣкъ около 30, и въ томъ числѣ человѣкъ 10 въ вицмундирахъ; это были гимназисты по образованію, не привыкшіе къ штатскому и рѣшившіе воспользоваться льготнымъ годомъ, чтобы пощеголять синимъ воротникомъ, издавна внушавшимъ намъ зависть. Человѣкъ 5—6 были въ изящныхъ визиткахъ и сюртучкахъ; это были молодые люди домашнего образованія, выдержавшіе экзамень въ университетѣ. Было еще нѣсколько болгаръ и кавказцевъ, характерныя фізіономіи которыхъ сами говорили за себя. Остальные человѣкъ 8—10 вначалѣ были для меня загадкой: въ штатскомъ, но бѣдно одѣтые, большею частію въ затасканныхъ черныхъ сюртукахъ, они по возрасту годились намъ чуть не въ дяди; видъ у нихъ былъ скромный, какъ будто придавленный, но они ловко успѣли занять лучшія мѣста, и у всѣхъ ихъ оказались и тетрадки, и свои чернильницы, и все, что нужно. Скоро мы съ моимъ пріятелемъ по гимназіи догадались, что это — семинаристы, въ то время имѣвшіе право поступать только по провѣрочному экзамену и особенно охотно поступавшіе или на медицинскій, или на словесный факультетъ.

Вошелъ профессоръ, старикъ лѣтъ 65, съ характерной фізіономіей добраго нѣмецкаго пастора, съ сѣдыми кудрями и въ широкомъ бѣломъ жабо, но въ вицъ-мундирномъ сюртукѣ,

сѣлъ на кафедру, вынулъ тетрадку и съ паѳосомъ зачиталь что-то на неизвѣстномъ языкѣ, который, впрочемъ, черезъ нѣсколько минутъ я не могъ не признать за латинскій. Дѣло въ томъ, что Клинь произносилъ рѣзко на нѣмецкій манеръ, смягчая губныя и s, произнося sch, какъ ш, и проч., такъ что у него вмѣсто vobis выходило фописъ, вмѣсто sunt—зунтъ, вмѣсто schola—шоля и т. д. Впослѣдствіи, когда мы, кое-какъ коверкая латынь (другого разговорнаго языка Клинь не признавалъ въ аудиторіи), объяснили профессору, что изъ-за разницы въ произношеніи не поняли его 1-ой лекціи, онъ далъ намъ свою тетрадку, и мы узнали, что эта лекція начиналась такъ: *In patria mea Saxonia, commilitones carissimi, mos est* и проч., т.-е. „Въ отечествѣ моемъ Саксоніи, дорогіе соратники, есть обычай“, что юный студентъ, отправляясь изъ роднаго города въ университетъ, просить своего любимаго учителя или почтеннаго друга дома или роднаго отца, наконецъ, написать ему въ памятную книжку какое нибудь motto. Припомните сцену въ 1-ой части Фауста между Мефистофелемъ въ профессорской тогѣ и ученикомъ и motto Мефистофеля: *Eritis sicut deus* и проч. Не помню, кто именно, кажется, отецъ, юному Клину почти 50 лѣтъ назадъ написалъ изреченіе: *Ut militibus armis, sic studiosis libris opus est* (какъ

солдатамъ нужно оружіе, такъ учащимся книги), и его теперь развивалъ намъ почтенный профессоръ, а въ заключеніе сказалъ, что для усовершенствованія въ латинскомъ стилѣ мы будемъ переводить съ нимъ темы Дронке, которые имѣются и въ нѣмецкомъ, и въ русскомъ изданіи.

Темы Дронке (русское изданіе, кажется, Кубарева) были не что иное, какъ подборъ фразъ историческаго или философскаго содержанія, представляющихъ цримѣры на §§ синтаксиса Цумпта. Всякій порядочный гимназистъ 6-го класса даже и тогдашней гимназіи долженъ былъ умѣть переводить ихъ и безъ помощи лекцій по латинской стилистикѣ, а профессоръ Клинь еще предпосылалъ переводу толкованіе соответствующихъ §§ синтаксиса. Тѣмъ не менѣе переводъ предствоялъ для насъ и даже для профессора большія трудности вслѣдствіе совершенно случайнаго обстоятельства. Русскій переводъ, лежавшій передъ студентами, часто не сходился съ нѣмецкимъ оригиналомъ, бывшимъ въ рукахъ у Клина; а Клинь, хотя и зналъ это, переводя ту же книжку изъ года въ годъ, въ каждомъ данномъ случаѣ относился къ словамъ студента съ полнымъ недовѣріемъ. Если фраза была передѣлана, онъ переводилъ по-своему и требовалъ, чтобы студентъ повторилъ его вѣрный переводъ; если же фраза была за-

мѣнена другою, онъ сердился, говорилъ: „*Omissisti aliquid, carissime!*“ (ты пропустилъ что-то, любезнѣйшій), а когда студентъ настаивалъ на своемъ правѣ переводить то, что передъ нимъ лежитъ, профессоръ въ мрачномъ молчаніи выслушивалъ его переводъ, почти не исправляя. Иногда, чтобы не огорчать его, и сдѣлаешь, бывало, видъ, что пропустилъ нѣчто, и повторишь за нимъ фразу.

Знающій и добрый человекъ былъ профессоръ Клинь, но чудакъ, какихъ мало на свѣтѣ. Полатыни писалъ и говорилъ онъ не только безусловно свободно и правильно, но даже художественно, и эта художественность вовсе не обуславливалась медленностью и обдуманностью рѣчи. Разъ, когда я былъ уже на 2-мъ курсѣ и большею частію составлялъ своей особой всю его аудиторію, мнѣ случилось опоздать на лекцію минутъ на 10. Служитель при платѣ предупредилъ меня:

— Идите скорѣй, Клинь уже давно васъ ждетъ, ходитъ по корридору и сердится.

Я пустился бѣгомъ въ аудиторію, но Клинь поймалъ меня при входѣ и принялся отчитывать; онъ говорилъ быстро, почти захлебываясь, какъ раздраженный сангвиникъ (доказывалъ мнѣ, что я мальчишка, не имѣю права дѣлать посмѣшище для служителей изъ него, старика, который въ 66 лѣтъ, не смотря ни на какую погоду, идетъ въ университетъ ради

моей пользы и всегда во время), а все же говорил изящно и ни въ одной косвенной рѣчи не нарушилъ правила о сослагательномъ наклоненіи.

Классиковъ латинскихъ и греческихъ Клинь зналъ прекрасно, но по изданіямъ, которыя были въ ходу въ дни его молодости, и занимался ими усердно и въ 65 лѣтъ, но все же по старымъ изданіямъ; къ изданіямъ же новымъ и въ какомъ нибудь отношеніи новшествующимъ онъ относился съ тѣмъ же мрачнымъ недоустріемъ, какъ и къ русскимъ вставкамъ въ темы Дронке. Въ заграничныхъ журналахъ, говорятъ, онъ писалъ довольно много, между прочимъ, объ амазонкахъ; изъ работъ же его, напечатанныхъ въ Россіи, я знаю только юбилейную рѣчь (1855 г.) о письменахъ у грековъ и римлянъ (конечно, полатыни), которая служила параллелью къ извѣстной палеографической статьѣ Буслаева. Доброта Клина, во-первыхъ, выражалась тѣмъ, что онъ раздавалъ намъ собственные экземпляры темъ Дронке, по желанію, даже въ ненавистной ему русской передѣлкѣ, и очень часто эти экземпляры пропадали безслѣдно. Если студентъ удостоивалъ представить ему письменный переводъ изъ этой книжки или приносилъ ему для поправки какую бы то ни было свою латинскую работу, хотя бы очень обширную, Клинь не только внимательнѣй-

шимъ образомъ къ слѣдующей же лекціи исправлялъ всѣ ошибки, но и поправлялъ всѣ неясно написанныя буквы.

Недѣли черезъ три я имѣлъ случай испытать на себѣ и его специальную доброту. Какъ-то разъ говорить онъ мнѣ послѣ лекціи:

— *Veni ad me, carissime, aliquid tibi dabo, quod tibi maxime juvabit* (приди ко мнѣ, любезнѣйшій, я дамъ тебѣ нѣчто, что тебѣ весьма поможетъ).

— Куда, въ профессорскую или на домъ, долженъ я прійти къ тебѣ?—спросилъ я (латыни, какъ извѣстно, „вы“ не употребляется).

— На домъ; я вижу на Кисловкѣ, домъ такого-то; дома бываю отъ 3-хъ.

Я конечно, не замедлил воспользоваться его приглашеніемъ. Обстановка квартиры была очень скромная. Клинь принялъ меня въ небольшомъ, но сплошь уставленномъ книгами кабинетѣ. Онъ заговорилъ со мной понѣмецки, я отвѣтилъ ему порусски, что, къ сожалѣнію, нѣмецкаго разговорнаго языка не понимаю; тогда онъ развелъ руками и снова обратился къ латыни. Онъ рассказалъ мнѣ, что недавно вошелъ въ аудиторію, когда мы, его слушатели, были задержаны на предыдущей лекціи; отъ нечего дѣлать сталъ просматривать наши книги и увидалъ, какими невозможно плохими изданіями Ксенофонта и Гомера я пользуюсь;

по моимъ отмѣткамъ на книгахъ онъ усмотрѣлъ, что я погречески знаю очень мало, и рѣшилъ предложить мнѣ пособія, которыя имѣются въ его библіотекѣ, съ тѣмъ, чтобы я не пачкалъ ихъ и не потерялъ. Кромѣ того, онъ всегда готовъ перевести для меня трудное мѣсто, объяснить все непонятное. А библіотека и въ будущемъ къ моимъ услугамъ, если я буду аккуратенъ съ книгами. Я, конечно, съ благодарностію принялъ его предложеніе, и послѣ этого, отчасти по доброй волѣ, отчасти по неволѣ, сдѣлался самымъ аккуратнымъ и большею частію единственнымъ слушателемъ Клина. Въ его лекціяхъ и въ латинскихъ бесѣдахъ съ нимъ съ глазу на глазъ я искалъ не столько пользы (довольно скоро убѣдился я, что специалистомъ по классическимъ языкамъ я не буду, такъ какъ ни моя подготовка, ни умственные симпатіи этому не соответствовали), сколько удовольствія; красивая латинская рѣчь профессора вмѣстѣ съ его довольно ветхой фигурой и образомъ мыслей, вмѣстѣ съ сводами и тусклымъ освѣщеніемъ „юридической внизу“ переносили меня изъ второй половины XIX вѣка въ вѣкъ XVII, когда великіе ученые конгрегаціи св. Мавра и др. жили и работали совсѣмъ вдали отъ шумнаго міра. А я долженъ сознаться, что и на филологическій факультетъ рѣшился идти потому, что разъ увидалъ виньетку,

кажется, на изданіи Авла Геллія, гдѣ былъ изображенъ такой ученый, обложенный фоліантами и работающій при свѣтѣ одинокой античной лампочки; въ лекціяхъ Клина я нашелъ какъ бы воплощеніе своей полудѣтской мечты.

Впрочемъ, эти лекціи принесли мнѣ и пользу, и даже пользу практическую: я выучился кое-какъ, конечно, не изящно и всегда правильно, болтать латыни, и когда черезъ 4 года по окончаніи курса попалъ я въ Берлинъ и оказался не въ состояніи понимать нѣмецкую живую рѣчь профессоровъ или сколько нибудь приличнымъ нѣмецкимъ языкомъ выразить имъ мои желанія, я не одинъ разъ прибѣгалъ съ успѣхомъ къ своей плохой латыни.

Чужачество Клина всего ярче выражалось въ экзаменахъ: онъ не указывалъ намъ никакихъ пособій, не давалъ программы, такъ что мы не готовились вовсе; а на экзаменъ онъ приносилъ собственноручно писанные огромные билеты (на 2-мъ курсѣ изъ синтаксиса, на 4-мъ изъ исторіи римской литературы, которую онъ читалъ по методу чуть ли не XVII вѣка, а именно: сперва диктовалъ суть дѣла, а потомъ подробно развивалъ продиктованное устно), на которыхъ было изображено, напримѣръ, слѣдующее: глаголы такой-то, такой-то и т. д. какихъ двухъ падежей требуютъ? или: поэты такой-то, такой-

то и т. д. не украшали ли собой вѣкъ Августа? Кромѣ того, эти билеты клались по порядку: 1-й, 2-ой, 3-й и т. д., и профессоръ былъ ужасно недоволенъ, если студентъ пытался извлечь билетъ изъ середины. Конечно, всѣ мы отвѣчали очень хорошо, но при этомъ были убѣждены (я и до сихъ поръ остаюсь при этомъ убѣжденіи), что Клинь вовсе не старался показать наши успѣхи передъ лицомъ начальства; да и какое начальство на университетскихъ экзаменахъ? и не объ насъ заботился, а просто у него метода была такая.

Иногда чудачество Клина обращалось и ко вреду... его самого; такъ мнѣ рассказывали, что онъ прослужилъ что-то очень долго, чуть не полныя 25 лѣтъ, и былъ убѣжденъ, что уже выслужилъ пенсію, но оказалось, что онъ не принялъ русскаго подданства, и всѣ эти годы пропали даромъ!

Разсказывалъ кто-то изъ старыхъ студентовъ, что еще въ 40-хъ городахъ къ Клину на лекцію пришелъ новый попечитель или помощникъ его изъ военныхъ генераловъ, и Клинь почтилъ его привѣтственной латинской, разумѣется, рѣчью, на которую генеральъ разразился чуть не солдатской бранью за то, что профессоръ русскаго университета не умѣетъ говорить порусски. Клинь будто бы почтительно выслушалъ начальственное вну-

шеніе, не понялъ изъ него, конечно, ни слова и по уходѣ генерала сказалъ слушателямъ: *Commilitones carissimí! Curator noster est homo severus!* (Дорогіе товарищи! Попечитель нашъ—человѣкъ строгій).

Можетъ быть, этотъ анекдотъ — продуктъ чьей нибудь досужей фантазіи, но онъ удачно характеризуетъ философское спокойствіе ученаго нѣмца.

Второй часъ (отъ 1—2) въ той же маленькой аудиторіи читалъ лекторъ французскаго языка м-г Пако (*Pasqaull*), бодрый и изящный старичекъ, порядочно говорившій порусски. Мы остались неслушать его почти въ полномъ составѣ, каковое счастье ему, какъ и другимъ лекторамъ, доставалось только одинъ разъ въ годъ; на вторую лекцію къ нему пришли 3—4 семинариста, вознамѣрившіеся поучиться у него пофранцузски; но, какъ было слышно, скоро и они покинули его, отчаявшись въ возможности успѣха.

Странное въ то время было учрежденіе—лектуры новыхъ языковъ въ нашихъ университетахъ! Всѣ знали ихъ безусловную бесполезность въ томъ видѣ, какъ дѣло было поставлено; а между тѣмъ оставлять ихъ незамѣщенными начальство сочло бы великимъ грѣхомъ. Занимали ихъ обязательно иностранцы, безъ сомнѣнія, хорошо знавшіе свой родной языкъ, то-есть, умѣющіе правильно

говорить, читать и писать на немъ, — и только. Конечно, *ceteris paribus*, человекъ образованный, написавшій 2—3 статейки и умѣющій кое-какъ объясняться порусски, предпочитался тому, кто порусски совсѣмъ не зналъ и статей не писалъ; но о серьезной научной подготовкѣ или о выдающемся талантѣ преподаванія, объ умѣннѣ изобреѣсти особыя приемы преподаванія въ виду особыхъ условій, въ которыхъ находятся учащіеся (хоть, напримѣръ, обосновать французскую грамматику на латинской), не могло быть и рѣчи. Въ лучшихъ случаяхъ, лектуры занимали хорошіе учителя гимназій, строго державшіеся здѣсь непригодной рутины, и въ лучшіе ихъ годы у нихъ до середины великаго поста доживало полдюжины слушателей, съ грѣхомъ пополамъ выучивавшихся при немалой затратѣ труда читать легкія книги; „старшіе“ же ихъ курсы, для студентовъ, уже нѣсколько подготовленныхъ, обыкновенно не могли состояться за неимѣніемъ желающихъ... А между тѣмъ на 2.000 студентовъ, по крайней мѣрѣ, 300 очень нуждались въ начальномъ обученіи одному изъ новыхъ языковъ, и вдвое столько же въ усовершенствованіи себя во французскомъ и нѣмецкомъ.

М-г Пако (или Паскваульть, какъ называлъ его одинъ семинаристъ, читавшій его фамилію полатыни), былъ навѣрно, изъ лучшихъ лекторовъ того времени; онъ красиво говорил по-

французски, знали своихъ „классиковъ“, то-есть, вѣкъ Людовика XIV и былъ довольно начитанъ во французской литературѣ 20-хъ и 30-хъ годовъ. Чтобы стоять „на высотѣ призванія“, онъ сочинилъ, безъ сомнѣнія, уже много лѣтъ назадъ вступительную лекцію, которую и изложилъ намъ. Въ ней былъ рядъ удачно подобранныхъ цитатъ и разнообразное содержаніе: говорилось о значеніи изученія языковъ вообще, и французскаго въ особенности, о его изяществѣ и силѣ, о томъ, что въ немъ 9.000 съ чѣмъ-то глаголовъ и изъ нихъ сколько-то тысячъ и сотенъ глаголовъ 1-го спряженія и т. д. и т. п. Все это могло быть, безъ сомнѣнія, интересно для насъ; но, хотя мы были крайне недалеки въ какой бы то ни было наукѣ, мы инстинктомъ чувствовали, что излагаемое почтеннымъ лекторомъ вовсе не наука, и что даже на будущихъ его лекціяхъ ничего научнаго мы не услышимъ.

То же отсутствіе научной подготовки рѣзко выдѣляло и остальныхъ лекторовъ изъ семьи нашихъ преподавателей.

Но они не приносили и той пользы, какую учителя приносили въ гимназіяхъ. Спрашивалъ я потомъ своихъ товарищей семинаристовъ, которые, желая выучиться понимать французскія книги, съ огромнымъ трудомъ переводили дома какую нибудь книжку, отчего они не посѣщаютъ лекцій Пако.

— Мы начали было ходить къ нему; но, во-первыхъ, онъ велѣлъ намъ купить какую-то хрестоматію съ глупыми статьями, которая стоитъ, однакоже, полтора цѣлковыхъ, и грамматику, донельзя неинтересную; а, во-вторыхъ, онъ столько болтаетъ о пустякахъ, что я въ это время успѣлъ бы выучить три десятка нужныхъ мнѣ словъ, да еще прочелъ бы хоть страницу полезной книги. А потомъ онъ сказалъ намъ, что скоро начнетъ переводить на французскій легкія фразы. На что это мнѣ? Вѣдь говорить или писать по-французски все равно я не выучусь, такъ не стоитъ и времени на это терять!

А вѣдь какъ легко было бы заинтересовать семинаристовъ и въ годъ выучить ихъ свободно читать, съумѣй Пако воспользоваться ихъ порядочнымъ знаніемъ латыни и показать имъ хотя бы самые азбучные фонетическіе законы, зная которые самъ учащійся можетъ воссоздавать изъ латыни французскія слова и формы!

По распредѣленію, обязательныя лекціи оканчивались у насъ въ 2 часа; но внизу этого распредѣленія мелкимъ шрифтомъ было напечатано, что для желающихъ отъ 2-хъ до 3-хъ ч., четыре раза въ недѣлю, проф. П. Я. Петровъ читаетъ санскритскій языкъ; какъ разъ была лекція и въ этотъ первый день.

— Останемся, господа, послушать, что за санскритъ такой! — сказалъ кто-то изъ бойкихъ

вицмундирныхъ студентовъ, уже признавшій въ насъ нѣчто корпоративное послѣ того, какъ мы 2 часа провели отдѣльно отъ другихъ факультетовъ и курсовъ.

— Остаемся, пожалуй! — отвѣтило ему большинство, нѣкоторые же, преимущественно семинаристы или красиво одѣтые молодые люди домашняго воспитанія, молча ушли домой. Остались и мы съ товарищемъ, тѣмъ охотнѣе, что на урокахъ русской словесности слышали нѣчто, правда, не вполне нами усвоенное, о громадной важности санскрита для сравнительной грамматики и еще заранѣе рѣшили слушать санскритъ, если окажется не очень трудно. Усѣлись мы въ „словесной внизу“ (какъ потомъ оказалось, основной филологической аудиторіи), въ количествѣ 18—20 человекъ. Въ четверть третьяго къ намъ вошелъ маленькій, тщедушный пожилой человекъ, съ бѣльмомъ или чѣмъ-то подобнымъ на глазу, въ потертомъ вицъ-мундирѣ; сдѣлавъ намъ недовольный полупоклонъ, опъ направился къ кафедрѣ, неловко взобрался на нее, покосился на насъ своимъ единственнымъ свѣтлымъ окомъ и началъ приблизительно такъ:

— Я знаю, господа, что всѣ вы, или почти всѣ, пришли ко мнѣ изъ празднаго любопытства узнать, что молъ за санскритъ такой. Такъ каждый годъ бываетъ; въ этомъ бѣда не велика, и я сегодня же удовлетворю васъ.

Но я убѣдительно прошу: послушавъ меня нынче, не приходите во второй разъ, а то мнѣ придется для васъ тетрадки писать, книжки носить. Окончится же это непременно тѣмъ, что всѣ вы отъ меня уйдете; много, много, что останется 2—3 человѣка, которые дѣйствительно заниматься будутъ. На что же остальнымъ, да и мнѣ съ ними, время терять?!

Мы засмѣялись. Профессоръ далъ намъ общее понятіе о языкѣ древнихъ индусовъ, о его нарѣчіяхъ (причемъ, видямо, старался представить дѣло изученія санскрита возможно труднѣе), о его обширной письменности и написалъ намъ на доскѣ санскритскія гласныя, долгія и короткія, и ихъ курьезныя сліянія съ одной или двумя изъ согласныхъ. А въ концѣ лекціи снова повторилъ свою просьбу не приходите въ слѣдующій разъ, иначе какъ, паче чаянія, кто серьезно учиться захочетъ. Мы и разошлись со смѣхомъ.

Впослѣдствіи я довольно близко узналъ профессора Петрова, такъ какъ 3 года подъ рядъ слушалъ у него по 2 раза въ недѣлю санскритъ, переводилъ съ нимъ и Савитри и Сакунталу, но выучился немногому, такъ какъ не имѣлъ досуга готовиться ко всякой лекціи, что было крайне необходимо. П. Я. Петровъ былъ тоже, какъ и профессоръ Клинь, — оригиналь, какихъ мало, и тоже человѣкъ

добрѣйшей души и огромныхъ знаній, да къ тому же имѣвшій важное значеніе въ исторіи Московскаго университета, такъ какъ онъ именно насадилъ въ Москвѣ санскритъ, и хотя самъ онъ не признавалъ сравнительной грамматики и даже острилъ надъ Боппомъ, все же онъ былъ, посредственно или непосредственно, учителемъ цѣлаго ряда поколѣній ученыхъ лингвистовъ. Всю жизнь прожилъ онъ аскетомъ съ дѣвцами-сестрами на Плющихѣ, не зная никакихъ радостей, кромѣ работы и приобрѣтенія новыхъ книгъ, часто очень дорогихъ даже для университетской библіотеки. Даже печаталъ онъ чрезвычайно мало, въ силу своей крайней скромности и добросовѣстности. Когда мы упрекали его, что онъ не издаетъ хоть текстовъ съ словарями, онъ показывалъ намъ коротенькую санскритскую онтологию, напечатанную имъ, если не ошибаюсь, еще въ Казани, и говорилъ:

— Вотъ я надъ корректурой этой книжечки одинъ глазъ потерялъ. Вы хотите, чтобы я надъ другой совсѣмъ ослѣпъ?

Онъ не выносилъ большой аудиторіи, то есть больше 2—3 человѣкъ, и нылъ въ началѣ каждой лекціи, пока не разгонялъ всѣхъ лишнихъ любопытствующихъ студентовъ. Когда же у него, наконецъ, оказывалось его священное число, онъ съ великимъ удовольствіемъ составлялъ кресла съ кафедры къ скамейкамъ

и становился живымъ и очень хорошимъ, хотя и требовательнымъ, преподавателемъ. Кромѣ санскрита, онъ преподавалъ желающимъ и арабскій, и персидскій и готовъ былъ преподавать какой угодно изъ извѣстныхъ ему языковъ, только бы оказались у него серьезно работающіе ученики; съ ними онъ готовъ былъ дѣлиться, чѣмъ угодно. Но и къ намъ, мало достойнымъ его вниманія полулѣтямъ, онъ былъ донельзя снисходителенъ и добръ и на всю жизнь сохранялъ къ намъ какую-то отеческую нѣжность. Никогда не забуду, какъ онъ пытался утѣшить меня въ тяжёлую пору моего магистерскаго экзамена, увѣряя, что все будетъ хорошо, и уговаривая для успокоенія нервовъ прочесть его брошюрку „Объ одной персидской рукописи“, которую тутъ же и вручилъ мнѣ.

Вышли мы въ 3 часа изъ университета, переполненные впечатлѣніями, въ которыхъ и сами не могли отдать себѣ отчета, но, въ общемъ, впечатлѣніями хорошими, возбуждающими энергію. Когда мы прощались другъ съ другомъ у университетскихъ воротъ, оказалось, что мнѣ предстоитъ идти по одной дорогѣ съ однимъ изъ моихъ новыхъ знакомыхъ, очевидно, семинаристомъ, съ очень умнымъ и серьезнымъ лицомъ. Путь былъ дальній, на Дѣвичье Поле, и много интереснаго узналъ я дорогою изъ этого неизвѣстнаго мнѣ міра.

Оказалось, что мой новый пріятель исключенъ изъ такъ называемаго философскаго класса за напечатаніе обличительной статьи въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и готовился въ университетъ къ полному экзамену совсѣмъ одинъ, безъ всякихъ пособій и указаній. И чего же натерпѣлся онъ, бѣдный! Такъ, напримѣръ, физіку Ленца ради дешевизны купилъ онъ на Смоленскомъ рынкѣ, причемъ его обманули: всучили экземпляръ безъ чертежей, и онъ, лишенный возможности понять эту совсѣмъ неизвѣстную ему науку, выдолбилъ толстѣйшую книгу почти наизусть! Полатыни—въ то время въ столичныхъ семинаріяхъ латынь шла очень плохо, такъ же, какъ и все остальное, кромѣ „сочиненій“ — началъ онъ готовиться прямо съ Тацита, одолевая его по переводу Кронеберга!

Академическая свобода, оказалось, не была для него новостью, такъ какъ и въ семинаріи онъ ходилъ на уроки, когда и къ кому хотѣлъ; но разница между средней школой и университетомъ для него была еще болѣе ощутительна, нежели для меня и другихъ „гимназистовъ“: мы, правда, учились по принужденію и по мѣрѣ силъ враждовали съ начальствомъ; но все-таки же, въ общемъ, мы знали, что намъ хотятъ добра и учатъ насъ тому, что намъ, дѣйствительно, нужно, да и путь въ университетъ для насъ былъ ровный

и гладкій; а семинаристъ, заподозрѣнный въ стремленіи къ свѣтской наукѣ, подвергнулся самому злостному гоненію и на все преподаваемое ему, смотрѣлъ, какъ на ненужный балластъ, прямо противоположный настоящей наукѣ. Понятно, съ какими радужными надеждами и съ какимъ твердымъ намѣреніемъ работать вступалъ теперь мой пріятель въ этотъ заветный и запретный для него храмъ науки.

— Вы будете санскриту учиться? — спросилъ онъ меня.

— Не знаю, удастся ли на первый годъ; я вѣдь очень плохо подготовленъ погречески. Да и Петровъ-то мнѣ кажется большимъ чудакомъ.

— А я такъ увѣренъ, — отвѣчалъ мой пріятель, — что онъ предобрый и прекрасный человѣкъ и учитель, да и предметъ такой новый и интересный. Вотъ Клинь такъ дѣйствительно, должно быть, чудакъ, и я не ожидаю большой пользы отъ его стилистики.

Мы начали дѣлиться впечатлѣніями относительно прослушанныхъ лекцій и, конечно, сошлись въ превознесеніи Буслаева надъ всѣми другими профессорами этого дня. Но въ откровенномъ разговорѣ оказалось, что оба мы поняли его плохо и притомъ такъ, что понятное одному было непонятно другому: большая степень развитія дала возможность

семинаристу понять общія идеи лекціи; а лучшая подготовка помогла, мнѣ, гимназисту, усвоить факты. Это обстоятельство подало намъ мысль вмѣстѣ перечитывать и толковать другъ другу наши записки; обѣимъ сторонамъ это было пріятно; мнѣ, полумальчику, было лестно быть за нанибрата съ несомнѣнно взрослымъ и развитымъ человѣкомъ и даже кое-что объяснять ему; а семинаристъ, черезчуръ скромный и отъ природы и отъ условій жизни, всякаго, хотя бы и столь юнаго представителя свѣтской науки, готовъ былъ считать за высшее существо.

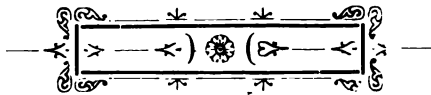
Посмѣялись мы съ нимъ и по поводу лекціи m-г Пако, причемъ я рассказалъ нѣсколько анекдотовъ о своихъ гимназическихъ учителяхъ французскаго языка, тоже не особенно искусныхъ педагогахъ; а мой спутникъ замѣтилъ мнѣ:

— Все же это были французы, свой языкъ знавшіе, и вы у нихъ все же кое-чему учились, а у насъ французскій языкъ „читаль“ свой же братъ семинаристъ, имѣвшій и о произношеніи, и о синтаксисѣ весьма смутныя понятія; да и у него-то намъ учиться было некогда, — сочиненія ололѣвали. Позднѣе одинъ пріятель рассказывалъ мнѣ такой случай. Семинаристъ изъ болѣе подготовленныхъ читаетъ французскую фразу съ русскимъ акцентомъ: Команъ ву порте ву.

— Чего ты французишь-то? — прерываетъ его учитель. — Вѣдь все равно французомъ не будешь. Читай просто, какъ всѣ читаютъ: Коментъ воусъ портесъ воусъ. Что вы ни говорите, а все же вы привилегированные студенты.

Я не безъ удовольствія согласился съ нимъ; только позднѣе узналъ я, какой перевѣсъ надъ нами давало всѣмъ семинаристамъ ихъ большее развитіе, хоть на дешевой, но все же философской подкладкѣ (въ гимназіяхъ въ то время логика не преподавалась вовсе), и ихъ привычка къ усидчивой работѣ, и какую пользу семинаристамъ-филологамъ принесло ихъ знаніе библіи.

Я вернулся домой усталый, но радостно возбужденный; вечеромъ попытался читать своего Цицерона, но не могъ сосредоточить на немъ своего вниманія (все раздумывалъ о профессорахъ, которыхъ мнѣ предстояло услышать на другой день) и ушелъ къ пріятелю по гимназіи, который поступилъ на физико-математическій факультетъ, узнать, какъ ему понравилась его профессора, и похвастаться своими.



Какая самая лучшая опера на СВѢТѢ?

(Изъ воспоминаній В. А. Гольцева).

Само собою разумѣется, что отрывокъ изъ воспоминаній студента не можетъ быть эстетическимъ разсужденіемъ. Опера можетъ быть лучшею въ обыкновенномъ или субъективномъ смыслѣ, какъ говорятъ юристы. Кромѣ того, не музыка и не исполненіе могутъ ее иногда сдѣлать наилучшею въ наилучшемъ изъ міровъ. Такъ было и со мной.

Нанимали мы, четверо студентовъ, большую комнату въ домѣ на углу Никитской и Газетнаго переулка, во дворѣ. Домъ стоитъ теперь загороженъ одноэтажной постройкой по Никитской. Приближалось Рождество. Двое товарищей уѣхали на праздники домой, побѣщавъ прислать намъ малую толику денегъ. Я и Балашовъ (онъ давно уже умеръ) остались въ довольно затруднительномъ положеніи. Былъ у насъ чай, сахаръ; булочникъ отъ Савостьянова приносилъ намъ ежедневно, въ кредитъ, по бѣлому хлѣбу,—вотъ и все. Я тогда прилежно изучалъ разсужденіе о богатствѣ народовъ, но наша собственная скудость приводила меня всетаки въ большое

огорченіе. Да и надоѣлъ наконецъ все бѣлый и бѣлый хлѣбъ.

Четвертый день праздника. Грустно сидимъ мы съ коллегой. Мнѣ и чай не пьется, и Адамъ Смитъ не читается. Является милѣйшій корридорный, охотно, ждущій отъ насъ на чай, и приноситъ повѣстку на мое имя изъ Петербурга на двадцать пять рублей. Въ Петербургѣ у меня не было тогда ни родныхъ, ни знакомыхъ. Недоумѣніе. Должно быть какое-нибудь порученіе — неувѣренно говорю я. Занимаемъ у ждущаго на чай корридорнаго гривенникъ — и вотъ повѣстка засвидѣтельствована. Я одѣваюсь. На улицѣ довольно холодно и маленькая мятель. Балаиновъ смотритъ на меня вопросительно почти жалобными глазами. Я вижу это и произношу вслухъ нашу общую въ то мгновеніе мысль: если порученіе можетъ потерпѣть, пойдѣмъ сегодня пообѣдать въ кухмистерскую? Коллега одобрительно киваетъ головой и сладострастно улыбается.

До почтамта довольно далеко. На тротуарахъ наметено много рыхлаго снѣга, вѣтеръ продувалъ мое не особливо устойчивое пальто. Наконецъ я пристану. Записали у одного стола, иду къ другому. Выдаютъ конвертъ за пятью красными печатями. Почеркъ на адресѣ незнакомый. Прошу ножницы, тутъ же разрѣзаю конвертъ: двадцать пять рублей

Мои воспоминанія.

(Ө. И. Буслаева *).

I.

...Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1834 г. отправился я изъ Пензы въ Москву держать экзаменъ въ университетъ вмѣстѣ съ моимъ товарищемъ Даниловымъ. Мнѣ только что минуло 16 лѣтъ 13 апрѣля, и я былъ совсѣмъ еще маленькимъ мальчикомъ, и голосъ у меня былъ совсѣмъ ребяческій. Выросталъ я уже потомъ, въ теченіе всего четырехлѣтняго университетскаго курса.

Рѣшительно ничего не помню, какъ я разставался съ своей матушкой, отъ которой мнѣ еще ни разу въ жизни не приходилось отлучаться; не помню, вѣроятно потому, что я сильно поглощенъ былъ этимъ необычнымъ переворотомъ въ моей жизни, горестью разлуки, страхомъ ожиданія будущаго.

Поѣхали мы въ кибиткѣ парюю, на долгихъ, не торопясь, шагкомъ. По дорогѣ останавливались кормить лошадей и переночевывать. По всему шестисотъ-верстному пути, должно быть, мнѣ рѣдко случалось глазѣть по сторонамъ, потому что я, не переставая, читалъ

*) Изъ книги „Мои воспоминанія“ академика Ө. И. Буслаева, изданіе В. Г. фонъ-Бооля. Стр. 1—11.

и училъ наизусть всеобщую исторію, кажется—Шрекка, которою тогда была замѣнена въ гимназіяхъ Кайданова. Живо помню только одно, сильно подѣйствовавшее на меня, впечатлѣніе. Проѣхавъ дней шесть, мы остановились у одной почтовой станціи. Передъ ней стоялъ полосатый верстовой столбъ. На сторонѣ, обращенной назадъ, было начертано: „Отъ Пензы 300 верстъ,“ а на сторонѣ впередъ тоже: „Отъ Москвы 300 верстъ“. Должно быть, сильно поразила меня тогда мысль, что я стою на линіи великаго для меня жизненнаго перевала.

Впослѣдствіи случалось мнѣ не разъ вспоминать объ этомъ верстовомъ столбѣ всякій разъ, когда я читалъ, какъ Вильгельмъ Мейстеръ, въ „Wanderjahre“, отправившись изъ дому въ далекое странствіе, добрался, наконецъ, въ самой верхней долинѣ высокихъ горъ, до перевала, отдѣляющаго теченіе потоковъ и рѣкъ: одни спускались назадъ, по дорогѣ, уже имъ пройденной, а другіе—впередъ. И когда онъ только что сталъ спускаться, живо почувствовалъ, что онъ вступилъ въ другія воды и на другіе берега, и сердце его сжалось тоскою по родинѣ и тяжелымъ недрумѣніемъ: что-то ждетъ его впереди!?

Наслышавшись дома, какъ бѣлокаменная Москва, подражая древнему Риму, разлеглась

на семи холмахъ, мы съ нетерпѣніемъ ждали, когда приближались къ ней и въпералі свои взоры вдаль, чтобы увидѣть на горизонтѣ маяк прелестныя золотыя маковки, и, конечно, мы насладились бы свиданіемъ для насъ зрѣлищемъ съ Поклонной горы, если бы ѣхали по мѣстечковской дорогѣ. Но со стороны Рогожской заставы мы и не замѣтили, какъ попали въ Москву, и ѣхали уже по Рогожской улицѣ, полагая, что это еще какая-нибудь слобода; мы все не переставали ждать, и надѣяться, что вотъ, наконецъ, представится уже намъ и сама Бѣлокаменная на одномъ изъ холмовъ съ своимъ Кремлемъ и соборами. Но слобода все отътянулась, и отътянулась. Избы и деревянныя плачури смѣнялись изрѣдка домицами и домами, и затѣмъ пошли и цѣлыя улицы съ сплошными каменными зданиями. Мы обманулись въ своемъ ожиданіи и очутились въ Черкасскомъ переулкѣ, между Никольской и Ильинской, въ темноватой и затхлои комнаткѣ съ однимъ окномъ, выходящимъ на длинную галлерей, окружающую дворъ гостинницы, или, какъ говорилось тогда, во дворянъ. Таково было первое впечатлѣніе при вѣдвореніи моемъ въ древней столицѣ, гдѣ мнѣ осуждено было до 6-лѣтняго возраста прожить до глубокой старости. Привыкнувъ къ широкому раздолью гористой Цепзы съ окружающими ее людьми и дремлю-

кими лѣсами, я почувствовалъ то, что, вѣроятно, должна почувствовать итчка, появлявшаяся въ клетку или въ западню. Можетъ быть, это тяжелое впечатлѣнiе помутилось и чувствомъ разлуки съ матушкой, которое тогда съ особенной силой меня обуяло, а можетъ быть и потому, что только теперь во всемъ ужасѣ представало передо мной рѣшенiе ожидающей меня судьбы.

Не помню, сколько дней прожили мы въ гостинницѣ, только недолго. Она оставила во мнѣ одно странное воспоминанiе, которое и до сихъ поръ иногда возобновляется, когда я прохожу по Черкасскому переулку. Это—какое-то особаго рода зловонiе, какого я прежде никогда не ощущалъ: это—своего рода запахъ отъ всякихъ нечистотъ съ приправою гнилыхъ лимонныхъ корокъ, которыми во множествѣ устлавы были помойныя ямы нашей гостинницы. Это были лимонныя кружки изъ-подъ чая, которые выбрасывали по улице.

Помнится, водворились мы въ гостинницѣ около вечерень. Солнце еще было высоко на горизонтѣ. Въ этотъ же день мы пошли на цоиски. Даниловъ, какъ человекъ несравненно практичнѣе меня, долженъ былъ намъ найти квартиру, разумеется, со столомъ, а я отправился съ письмомъ отъ матушки къ Кастору Никифоровичу Лебедеву. Жилье нашъ у

Протасовыхъ, въ ихъ собственномъ домѣ на Собачьей площадкѣ, въ Дурновскомъ переулкѣ. Домъ этотъ стоитъ и теперь, — первый на правой сторонѣ переулка, вслѣдъ за дровянымъ дворомъ, который выходитъ угломъ на площадку. Большую часть жизни проведши въ этой мѣстности, всякій разъ во время моихъ прогулокъ, проходя этимъ переулкомъ, никогда не могъ я не вспомнить того далекаго времени, когда я съ трепетомъ ожиданія и надежды вошелъ въ ворота между флигелемъ направо и домомъ налево, поднялся на крылечко и постучался въ дверь, — потому что въ письмѣ матушки былъ мой талисманъ, — и, перешагнувъ черезъ порогъ, я дѣлалъ первый шагъ въ манящее меня грозное будущее.

Надобно знать, что Лебедевъ былъ сынъ самой близкой пріятельницы моей матушки и давалъ мнѣ уроки, будучи ученикомъ гимназій, когда я мальчикомъ лѣтъ 9 былъ въ приготовительномъ пансіонѣ его матери, Маріи Алексѣевны Лебедевой, собственно предназначенномъ только для дѣвочекъ, между которыми я составлялъ привилегированное исключеніе. Когда я постучался къ нему въ Дурновскомъ переулкѣ, онъ ужъ былъ кандидатъ московскаго университета и магистрантъ по исторіи, любимецъ профессора Погодина, который пользовался тогда извѣстностью какъ

ученый и литераторъ. Рекомендую меня По-
годину, Лебедевъ могъ обезпечить и облегчить
мое вступленіе въ университетъ вліяніемъ
такого авторитетнаго профессора. Но мои
волненія и ожиданія были напрасны, Лебе-
девъ, точно, жилъ у Протасовыхъ, но вмѣстѣ
съ ними уѣхалъ въ деревню, а вернется въ
Москву не раньше сентября, т.-е. когда уже
будутъ покончены вступительные экзамены въ
университетъ и когда рѣшится моя судьба.
Однако мой талисманъ, какъ увидите, оказалъ
свое спасительное дѣйствіе, и вліяніе Лебе-
дева, хотя и заочное и безъ его вѣдома, и
совершенно случайно, дало самый благо-
пріятный исходъ всѣмъ моимъ заботамъ и
треволненіямъ.

Очень скоро и удачно мой милый товарищъ
нашелъ квартиру, во всѣхъ отношеніяхъ для
насъ удобную и удовлетворительную, а глав-
ное вблизи отъ университета, именно на
Арбатѣ, не доходя до Николы Явленнаго,
наискосокъ противъ церкви, между Аванасье-
вскимъ и Староконюшеннымъ переулками. Домъ
этотъ существуетъ и теперь—и носить имя
того же хозяина: Аріоли,—одноэтажный съ
мезониномъ. Наша квартира была не въ этомъ
домѣ, а на дворѣ въ двухъэтажномъ камен-
номъ флигелѣ, который и до сихъ поръ прямо
въ глубинѣ двора видѣется съ улицы изъ
воротъ. Наняли мы себѣ помѣщеніе въ квар-

тирѣ сапожника, во второмъ этажѣ, куда
ведеть прямая лѣстница съ навѣсомъ. Въ
нижнемъ этажѣ была мастерская сапожника
и жили двоѣ мастера. Нашъ хозяинъ и его
жена были еще очень молодые люди. Хозяйка,
Анна Андреевна, очень заботилась о насъ,
обоихъ, кормила досыта, и до сихъ поръ я
не забылъ ея вкусную стряпню. Хозяина не
помню какъ звали, Кузьмою или Кузьмичомъ.
У нихъ было двое маленькихъ дѣтей, сыночекъ
и дочка. Помню, мы ими забавлялись, играли
съ ними, отдыхая отъ утомительнаго долбле-
нія, приготовляясь къ экзамену. Впослѣдствіи,
лѣтъ черезъ 20 слишкомъ, дошли до меня
вѣрныя свѣдѣнія, что мальчикъ, съ которымъ
мы игрывали, выросъ здоровеннымъ и ловкимъ
акробатомъ, напяливалъ на себя въ обтяжку
трико, искусно плясалъ на канатѣ, переки-
дывая изъ одной руки въ другую тяжелыя
гири. Дѣвочка превратилась въ балаганскую
примадонну и отличалась звонкимъ голосомъ
въ пѣніи. Все это я узналъ отъ ихъ матери,
которая лѣтъ 25 тому назадъ, когда я былъ
уже женатымъ профессоромъ, иногда заходила
къ намъ, и мы вмѣстѣ съ ней вспоминали о
томъ, какъ она насъ съ Даниловымъ угоща-
ла, лелѣяла и покоила. Что касается до ея
мужа, то и онъ тогда еще здравствовалъ, но
увлекся артистическою карьерою своихъ дѣ-
тей, бросилъ ремесло сапожника, обѣднѣлъ и

пристроился къ театру въ качествѣ барышника, предлагающаго театральныя билеты то у Большого, то у Малаго театровъ; гдѣ я нѣсколько разъ сряду и встрѣчался съ нимъ, какъ со старымъ знакомымъ.

Сколько возможно, я успокоился, углубившись въ приготовленіе къ экзамену, хотя глухая тревога и тяжело лежала на сердцѣ, а тревожиться было отъ чего: во первыхъ, какъ разъ съ 1834 г. были назначены пріемные экзамены строгіе, и ихъ требованія мы не могли удовлетворить мой познанія, полученныя въ пензенской 4-классной гимназій; а во-вторыхъ, — и это самое главное, — для меня настоятельно необходимо было выдержать экзаменъ не для того, чтобы только поступить въ университетъ, а чтобы обезпечить свое существованіе, т.-е. быть пріятнымъ въ число казеннокоштныхъ студентовъ, и притомъ какъ можно скорѣе. Не выдержи я экзамена, мнѣ пришлось бы въ Москвѣ помереть съ голоду, а о возвращеніи въ Пензу нечего было и думать безъ копѣйки въ карманѣ. Въ наличности было у меня тогда всего 25 руб. ассигнаціями; по теперешнему 8 рублей съ копѣйками; этого едва хватало на два мѣсяца за квартиру со столомъ. Экзаменъ былъ для меня только средствомъ для достиженія этой цѣли, и грозная мысль о существованіи заслоняла въ моихъ думахъ заботы объ экза-

менѣ. Это было для меня какое-то смутное время, и я рѣшительно ничего не помню, какъ я пришелъ въ первый разъ въ стѣны университета и къ кому явился подать просьбу о допущеніи меня къ экзамену, и какъ потомъ справлялся, въ какіе дни и часы будетъ онъ назначенъ, и такимъ образомъ, будто проснувшись отъ тяжелаго сна, я вдругъ очутился на первомъ экзаменѣ въ большой аудиторіи, наполненной толпою незнакомыхъ мнѣ юношей.

Этой аудиторіею была тогда въ старомъ зданіи университета та большая библіотечная зала, въ которой десятки лѣтъ происходили публичныя засѣданія Общества Любителей Россійской словесности. Экзаменующіеся размѣстились по лавкамъ, разставленнымъ въ нѣсколько рядовъ противъ оконъ, а впереди на пустомъ пространствѣ стояло четыре или пять столиковъ въ разстояніи одинъ отъ другого, и за каждымъ по экзаменатору; они сидѣли задомъ къ окнамъ.

Рѣшительно не помню, съ какого предмета я началъ свой экзаменъ и какъ я продолжалъ его и довелъ до конца; не помню также и того, что меня спрашивали и какъ я отвѣчалъ. Все это осталось въ моей памяти какими-то темными пятнами, изъ-за которыхъ ярко выступаетъ одно великое для меня событіе, которое, какъ я глубоко убѣжденъ, рѣшило судьбу моего экзамена.

И теперь, когда я это рассказываю, живо представляется мнѣ во всѣхъ подробностяхъ, какъ я стою у столика, а передо мною сидитъ профессоръ богословія Петръ Матвѣевичъ Терновскій, съ окладистой бородою и строгими взорами—онъ казался мнѣ тогда такимъ величественнымъ и недоступнымъ—и слушаетъ, какъ я ему рассказываю довольно подробно какое-то событіе изъ священной исторіи. Въ это самое время подходитъ къ нему молодой человѣкъ лѣтъ 30 въ форменномъ фракѣ, остановился, посмотрѣлъ на меня и сталъ слушать, что я говорю. Его добрый, снисходительный взглядъ точно приласкалъ меня, воодушевилъ, и я продолжалъ рассказывать съ такой искренностью, съ такимъ убѣжденіемъ, которыми я будто хотѣлъ отвѣтить на дружеское привѣтствіе стараго знакомаго. Когда я кончилъ, молодой человѣкъ спросилъ меня, откуда я родомъ и гдѣ учился. Отвѣчая ему, я назвалъ своихъ учителей и между прочими упомянулъ о Касторѣ Никифоровичѣ Лебедевѣ. Мнѣ показалось, что его взглядъ вдругъ просвѣтлѣлъ и легкая улыбка мелькнула по чертамъ лица. Онъ отвѣчалъ, что Кастора Никифоровича хорошо знаетъ, и своимъ задушевымъ голосомъ сказалъ мнѣ: „если что вамъ понадобится, приходите ко мнѣ“. Когда я съ радостью возвратился на скамейку къ товарищамъ, мнѣ

сказали, что я говорилъ съ Михаиломъ Петровичемъ Погодинымъ.

Да, это былъ первый лучъ радости, освѣтившій меня по приѣздѣ моемъ въ Москву.

При содѣйствіи Михаила Петровича, я благополучно выдержалъ экзамень, а въ сентябрѣ, при его же содѣйствіи, былъ принятъ въ число казеннокоштныхъ студентовъ.

II.

Общежитіе наше называлось не бурсою, какъ принято въ семинаріяхъ, и не институтомъ, какъ были тогда дворянскій и педагогическій институты, а просто казенными номерами. Помѣщалось въ нихъ по комплекту полтора ста человекъ, и именно сто студентовъ медицинскаго факультета и пятьдесятъ философскаго, раздѣливагося тогда на два отдѣленія—на словесное и физико-математическое. Номеровъ было около пятнадцати, одни: подъ рядъ, для медиковъ, а другіе тоже подъ рядъ, для остальныхъ пятидесяти студентовъ.

Наше общежитіе занимало весь верхній этажъ такъ называемаго стараго зданія московскаго университета, въ отличіе отъ новаго, въ которомъ теперь читаются лекціи, и которое тогда еще не было готово. Лекціи читались въ томъ же старомъ зданіи подъ на-

шими номерами, и только съ 1835 г. были переведены онѣ въ новое.

Къ намъ наверхъ было два входа: одинъ съ параднаго крыльца, черезъ обширныя стѣны, которыми въ послѣднее время входили въ университетскую библіотеку, а другой—со стороны задняго двора, съ праваго угла зданія.

Въ номерахъ мы проводили весь день и вечеръ до 11 часовъ, а спать уходили въ дортуары, которые были значительно больше нашихъ номеровъ и находились въ правомъ крылѣ университетскаго зданія, если смотрѣть со стороны Моховой. Номера и спальни размѣщались по обѣ стороны коридора, который тянулся по всему зданію отъ лѣваго крыла, выходявшаго на Никитскую, и до праваго. Между дортуарами и номерами была большая зала, въ которую мы, проснувшись, выходили умываться. Вдоль стѣнъ ея стояли сплошные гардеробные шкафы съ нашимъ платьемъ и бѣльемъ, а по серединѣ—двѣ громадныя посудыны. На каждой въ видѣ огромнаго самовара или паровика резервуаръ для воды, которую умывающійся добывалъ, поднимая и спуская вложенный въ отверстіе ключъ. Такихъ ключей въ посудинѣ было не менѣе десяти, такъ что въ самое короткое время успѣвали умыться всѣ полтора ста студентовъ. Здѣсь же цирюльники брили усы и бороду

болѣе пожилымъ изъ насъ, или точнѣе болѣе совершеннолѣтнимъ, на которыхъ, озираясь назадъ отъ той машины во время умыванья, мы взглядывали съ уваженіемъ и особенно, когда бреемый вскрикивалъ и давалъ пощечину брадобрею. Это осталось особенно живо въ моей памяти, потому что случалось почти ежедневно, такъ какъ подрядчикъ-цирюльникъ обыкновенно командировалъ къ намъ неумѣлыхъ мальчишекъ, чтобы напрактиковать ихъ въ бритьѣ.

Номеръ, въ которомъ я жилъ въ теченіе всѣхъ четырехъ лѣтъ университетскаго курса, занималъ задній уголъ зданія съ окнами на Никитскую и на задній дворъ университета, гдѣ и теперь еще находится садъ, въ которомъ мы обыкновенно гуляли и, сидя на скамейкахъ, читали книги или заучивали свои лекціи.

Пить чай, обѣдать и ужинать мы спускались въ нижній этажъ, въ громадную залу, въ которой за столами, разставленными въ два ряда, могли свободно размѣститься мы всѣ въ числѣ полутора ста человѣкъ.

Чтобы не пропускать ничего, надобно прибавить, что въ томъ же верхнемъ этажѣ, при нашихъ номерахъ, находились еще двѣ комнаты, одна побольше, для нашей библіотеки, такъ сказать, фундаментальной, съ книгами болѣе дорогими и многотомными, а другая

поменьше, съ однимъ окномъ, выходящимъ на задній дворъ съ садомъ—для карцера. Съ тѣхъ поръ, какъ явился къ намъ попечителемъ графъ Сергѣй Григорьевичъ Строгановъ въ 1835 г., вмѣстѣ съ инспекторомъ Платономъ Степановичемъ Нахимовымъ, комната эта навсегда оставалась пустою. По въ первый годъ моего студенчества, еще въ попечительство князя Сергѣя Михайловича Голицына и его помощника Дмитрія Павловича Голохвастова, въ ней приключилась великая бѣда.

Карцеръ помѣщался какъ разъ надъ большою аудиторіею перваго курса, находящеюся подъ упомянутою выше библиотечною залою, съ окнами также на задній дворъ. Дѣло было осенью. Лекцію читалъ Степанъ Петровичъ Шевыревъ, на кафедрѣ, стоящей къ стѣнѣ между окнами. Мы съ своихъ лавокъ слушали и смотрѣли на профессора и въ окна. Вдругъ направо за окномъ мгновенно пролетѣла какая-то темная, длинная масса и вмѣстѣ съ тѣмъ раздался страшный, раздирающій душу вопль. Мы всѣ поскакали со скамеекъ. Степанъ Петровичъ опрометью бросился съ кафедры, и всѣ мы вмѣстѣ съ профессоромъ стремглавъ ринулись изъ аудиторіи на заднее крыльцо (дверь на него изъ большихъ сѣней теперь уже задѣлана). Палъво отъ него на каменномъ помостѣ лежалъ ничкомъ человекъ

въ солдатской шинели, не шелохнувшись; около него уже суетилось человѣка три изъ университетской прислуги, поворачивая его навзничь. Онъ былъ уже мертвъ, съ окровавленнымъ и изуродованнымъ лицомъ. Это былъ казеннокоштный студентъ, накануне посаженный въ карцеръ за то, что былъ мертвецки пьянъ, а на другой день въ 12 часовъ дня бросился изъ окна, какъ и почему—осталось неизвѣстнымъ. Тотчасъ же вслѣдъ за этой катастрофой было приказано въ это окно вставить желѣзную рѣшетку.

Живя въ своихъ номерахъ, мы были во всемъ обезпечены и, не заботясь ни о чемъ, безъ копѣйки въ карманѣ, учились, читали и веселились вдоволь. Нашему удовольствию завидовали многіе изъ своекоштныхъ. Все было казенное, начиная отъ одежды и книгъ, рекомендованныхъ профессорами для лекцій, и до сальныхъ свѣчей, писчей бумаги, карандашей, чернилъ и перьевъ съ перочиннымъ ножичкомъ. Тогда еще перья были гусинья и надо было ихъ чинить. Безъ нашего вѣдома намъ мѣнялось бѣлье, чистилось платье и сапоги, пришивалась недостающая пуговица на вицмундирѣ. Въ номерѣ помѣщалось столько студентовъ, чтобы имъ было не тѣсно. У каждого былъ свой столикъ (конторки были заведены уже послѣ). Его доска настолько была велика, что можно было удобно писать,

разставивъ локти: подъ доскою былъ выдвижной ящикъ для тетрадей, писемъ и всякой мелочи, а нижнее пространство съ створчатыми дверцами было перегорожено полкою для книгъ; можно было бы класть туда что-нибудь и съѣстное или сласти, но этого не было у насъ въ обычаѣ и мы даже гнушались такого филистерскаго хозяйства. Если случалось что купить съѣстного, мы предпочитали истреблять тутъ же или на улицѣ. Въ нашемъ номерѣ былъ только одинъ запасливый студентъ, изъ математиковъ. Онъ какъ-то ухищрялся экономить свои сальные свѣчи, и такимъ образомъ держалъ въ своемъ столикѣ всегда порядочный ихъ запасъ и ссужалъ того изъ насъ, у кого не хватало свѣчи.

Столики были разставлены аршина на два съ половиной другъ отъ друга вдоль стѣны, но такъ, чтобы садиться лицомъ къ окну, а спиною ко входной двери, ведущей въ коридоръ. Вдоль глухой стѣны помѣщался широкій и очень длинный диванъ съ подушкой, обтянутой сафьяномъ, такъ чтобы двое могли улечься въ ростяжку головами врознь, не толкая другъ друга ногами. Надъ диваномъ висѣло большое зеркало. Впрочемъ, не помню, чтобы кто-нибудь изъ насъ интересовался своею личностью и любовался на себя въ зеркало, кромѣ — одного. Это былъ самый

неуклюжій и безобразный изъ насъ, колченогій, весь перекоился, съ блѣднымъ рябымъ лицомъ, съ безцвѣтными, посоловѣлыми глазами, съ такими же безцвѣтными, бѣлесоватыми бровями и такими же волосами, которые топырились дыбомъ, съ широкимъ носомъ и толстыми губами на продолговатомъ лицѣ. Мы его звали Квазимодо, потому что были уже знакомы тогда съ романомъ Гюго. Это былъ нѣкто Шнейдеръ, кончившій курсъ въ такъ называвшемся тогда холерномъ заведеніи, — т. е. для сиротъ, родители которыхъ померли холерою въ 1830 году. Зданіе, въ которомъ помѣщалось это учебное заведеніе, впоследствии было передѣлано и дополнено новыми корпусами для военнаго училища, находящагося на углу Знаменки и Пречистенскаго бульвара. Какъ только заковыляеть Шнейдеръ по номеру, ужъ непременно остановится передъ зеркаломъ и внимательно смотрится въ него, устраивая себѣ умильные взоры и привлекательныя выраженія.

Въ помѣщеніи, гдѣ съ утра и до поздней ночи собрано до десятка веселыхъ молодыхъ людей, никакими предписаніями и стараніями нельзя водворить надлежащую тишину и спокойствіе. У насъ въ номерѣ не выпадало ни одной минуты, въ которую пролетѣлъ бы надъ нами тихій ангелъ. Постоянно въ ушахъ гамъ, стукотня и шумъ. Кто шагаетъ взадъ и впе-

редь по всему номеру, кто бранится съ своимъ сосѣдомъ, а то музыкантъ пилить на скрипкѣ или дудить на флейтѣ. Привычка— вторая натура, и каждый изъ насъ, не обращающій вниманія на оглушительную атмосферу, усердно читаль свою книгу или писалъ сочиненіе. Такъ привыкають къ мельничному грохоту, и самая тишина въ природѣ, по ученію древнихъ философовъ, есть не что иное, какъ сладостная гармонія безконечно разнообразныхъ звуковъ. Я не отвыкъ и до глубокой старости читать и писать, когда кругомъ меня говорятъ, шумятъ и толкуются.

Для сношенія съ начальствомъ по нуждамъ товарищей и для какихъ-либо экстренныхъ случаевъ, въ каждомъ номерѣ выбирался одинъ изъ студентовъ, который назывался старшимъ. Онъ же призывался къ отвѣту иза безпорядокъ или шалость, выходящія изъ предѣловъ дозволеннаго. Послѣдніе два года до окончанія курса старшимъ студентомъ былъ назначень я.

Ближайшимъ начальствомъ нашимъ былъ дежурный субъ-инспекторъ. Тутъ же изъ коридора былъ для него небольшой кабинетъ, нѣчто въ родѣ канцеляріи, такъ что во всякое время каждый студентъ могъ обратиться къ нему съ своимъ дѣломъ.

Наши дни и часы были подчинены строгой дисциплинѣ. Мы вставали въ семь часовъ

утра, въ восемь пили въ столовой чай съ булками, а въ девять отправлялись на лекціи, возвращались въ два часа, и въ половинѣ третьяго обѣдали, а въ восемь ужинали, въ одиннадцать ложились спать. Кто не обѣдалъ или не ужиналъ дома, долженъ былъ предварительно увѣдомить объ этомъ дежурнаго субъ-инспектора, а также испросить у него разрѣшеніе переночевать у родныхъ или знакомыхъ съ сообщеніемъ адреса, у кого именно.

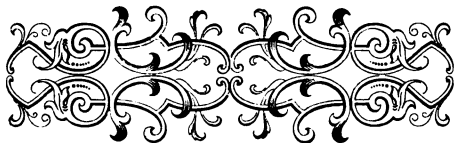
Кормили насъ недурно. Мы любили казенныя щи и кашу, но говяжьи котлеты казались намъ сомнительнаго достоинства, хотя и были сильно приправлены бурой болтушкою съ корицею, гвоздикомъ и лавровымъ листомъ. Изъ-за этихъ котлетъ случались иногда за обѣдомъ исторіи, въ которыхъ дѣйствующими лицами всегда были медики. Дѣло начиналось глухимъ шумомъ; дежурный субъ-инспекторъ подходитъ и спрашиваетъ, что тамъ такое: ему жалуются на эконома, что онъ кормитъ насъ падалью. Обвиняемый является на судъ, и начинается расправа, которая обыкновенно ни къ чему не приводила. Хорошо помню эти исторіи, потому что и мнѣ, и многимъ другимъ изъ насъ онѣ очень не нравились по грубости и цинизму.

Впрочемъ, эти мелочи заслоняются передо мною однимъ тяжелымъ воспоминаніемъ, которое соединено со стѣнами нашей столовой.

Быль одинъ медикъ уже послѣдняго курса, можно сказать пожилой въ сравненіи съ нами, словесниками, средняго роста, съ одутлымъ лицомъ и густыми рыжеватыми бакенбардами, даже немножко лысый. Фамиліи его не припомню. Приходимъ мы обѣдать, и только что разсѣлись по своимъ мѣстамъ, — на пустомъ пространствѣ между столами появилась фигура въ солдатской шинели, и медленными шагами, понутивъ голову, стала приближаться. Это былъ тотъ самый студентъ. Мы были взволнованы и потрясены неожиданнымъ впечатлѣніемъ жалости и горя, потому что хорошо понимали весь ужасъ этого шутовского маскарада. Медленно и тихо прошелъ онъ далѣе и сѣлъ у окна за маленькимъ столикомъ, назначеннымъ для его обѣда.

За большіе проступки наказывали тогда студентовъ солдатчиною. На первый разъ, въ видѣ угрозы и для острастки другимъ, виновный только облакался вмѣсто вицмундира въ солдатскую сермягу и какъ бы выставлялся на позоръ; если же потомъ снова провинится, ему брили лобъ. Само собою разумѣется, рассказанный случай могъ произойти только въ первый годъ моего пребыванія въ университетѣ при князѣ Сергѣѣ Михайловичѣ Голицинѣ, который былъ попечителемъ только для парада; всѣми же дѣлами по управленію округа завѣдывалъ Дмитрій Павловичъ Го-

лохвастовъ. Тогда зачастую слышалась угроза солдатчиною, и спустя много лѣтъ послѣ того мерещилось мнѣ иногда во снѣ, что мнѣ бреютъ лобъ, и я надѣваю на себя солдатскую амуницію. Слава Богу, что на слѣдующій годъ явился къ намъ графъ Сергѣй Григорьевичъ Строгановъ и привезъ съ собою нашего милаго и дорогого инспектора Платона Степановича Нахимова. Съ тѣхъ поръ страхи и ужасы прекратились, и наступило для студентовъ счастливое время.



Изъ московскихъ студенческихъ воспоминаній Ильи Петровича Деркачева.

„Кто не жилъ въ 1856 г. въ Россіи, тотъ не знаетъ, что такое жизнь“.

„Декабристы“, соч. гр. Л. Толстою.

I.

Въ началѣ августа мѣсяца 1856 г. я былъ уже въ Москвѣ. Тутъ я нашелъ прежде всего студентовъ-крымчаковъ (изъ Крыма) братьевъ К—чей (Ивана и Александра). Это были сыновья севастопольскаго героя-моряка. Съ этимъ семействомъ я былъ знакомъ еще въ Харьковѣ, въ 1855 г. даже пользовался нѣкоторое время пріютомъ въ ихъ квартирѣ. Морякъ—герой, съ перебитыми ногами, находился въ то время въ Харьковѣ на излѣченіи. Это была очень добрая семья. Здѣсь то я и сдружился съ Александромъ К—чемъ и велъ съ нимъ переписку изъ Кобеляцкаго уѣзда, Полтавской губерніи, гдѣ жилъ на кондиціи, то есть обучалъ тамъ дѣтей полтавскаго помѣщика, Н. Сушкова. Переписка моя съ пріятелемъ не прекратилась и тогда, когда братья К—чи переѣхали въ Москву. Мой пріятель, въ своихъ письмахъ, постоянно звалъ меня въ первопрестольную. „Тебя,

писаль онъ, исключили изъ харьковскаго университета за невзносъ платы за слушаніе лекцій. Здѣсь этого съ тобою не случится. Я наводилъ справку въ университетъ и секретарь правленія, Жигаревъ, обѣщаль посодѣйствовать, чтобъ тебя освободили отъ платы за слушаніе лекцій. А чтобъ тебѣ наверстать потерянный годъ, то переходи съ медицинскаго факультета на юридическій. Прибереги деньги, что заработаешь отъ помѣщика, и катай-валяй въ первопрестольную!.. Смотри, не опоздай подать прошеніе. Мы живемъ на Козихѣ. Эту часть города всѣ Московскіе Ваньки (извошники) знаютъ досконально. Козиха это, такъ сказать, московскій латинскій кварталъ: она населена, по преимуществу, учащеюся молодежью. Ты найдешь себѣ въ Москвѣ уроки; найдешь и недорогую комнатку. Здѣсь жизнь вообще недорога. Студенты, получающіе изъ дому по 25 р. въ мѣсяцъ, считаются богачами. Такая сумма денегъ даетъ имъ возможность даже помогать товарищамъ бѣднякамъ.— Приѣзжай, право! Обѣдать будемъ ходить къ „тетушкѣ“... О, ты узнаешь, какія бываютъ „тетушки“ на свѣтѣ! За пять рублей въ мѣсяцъ она будетъ кормить тебя на славу! Наша студенческая „тетушка“—это въ своемъ родѣ достопримѣчательность города Москвы, какъ достопримѣчательна Царь-Пушка, торчащая въ Московскомъ Кремлѣ. „Тетушка“ —

это тоже большая пушка: какъ изъ Царь-Пушки никто никогда не былъ убитъ, такъ и тетушка-пушка никого еще не погубила (не отравила) своими кушаньями“...

Само собою разумѣется, что, читая такія дружескія письма, меня все сильнѣе и сильнѣе тянуло въ Москву: мнѣ, просто, не сидѣлось въ деревнѣ Кобеляцкаго уѣзда... И вотъ я пустился въ путь-дорогу.

Братья К—чи переѣхали изъ Харькова въ Москву по той же причинѣ, по которой перекочевали потомъ изъ Одессы и Кіева въ Москву-же еще нѣсколько студентовъ-крымчаковъ. Слава о старѣйшемъ изъ русскихъ университетовъ далеко разносилась по Россіи—и молодыхъ людей тянуло къ центру Россіи. Имена Грановскаго, Кудрявцева, Кавелина, Рѣдкина, Соловьева были извѣстны ученикамъ Симферопольской гимназіи уже въ пятидесятихъ годахъ. *Θ.* Стулли, окончившій въ 1853 году курсъ въ Симферопольской гимназіи въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ *), что одинъ изъ учителей Симферопольской гимназіи, кандидатъ Московскаго университета, либеральничая, постоянно прикрывался авторитетомъ профессоровъ Московскаго университета. Но тотъ же *Θ.* Стулли добавляетъ: „Досадно и даже стыдно вспомнить теперь,

*) „Русская Школа“ № 11, 1895 г. „Сорокъ лѣтъ тому назадъ“. *Θ.* Стулли.

чѣмъ морочилъ насъ этотъ шарлатанъ. Небольшого роста, хорошо упитанный молодой человѣкъ, онъ былъ не безъ способностей и обладалъ даромъ слова; кромѣ того, онъ обладалъ еще однимъ могущественнымъ орудіемъ воздѣйствія на молодые и немолодые умы. Это орудіе была лесть“.

Изъ такого отзыва эксъ-ученика о своемъ эксъ-учителѣ, мы можемъ заключить одно, что даже ослѣпительные лучи отъ славы Грановскаго, подъ которые подставлялъ свою особу упитанный педагогъ, не могли ослѣпить умственныхъ очей прозорливаго гимназиста *Θ. Стулли*. Много милостивѣе отзывается тотъ же эксъ-гимназистъ о другомъ учителѣ Симферопольской гимназіи (*Кудрищкомъ*). „Этотъ педагогъ, также кандидатъ Московскаго университета, времени Грановскаго и Соловьева, былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти, серьезно образованный, діалектикъ, съ гибкимъ умомъ и рѣчью, но самолюбивый и самонадѣянный... Расположеніемъ учениковъ онъ не пользовался, особенно, съ того времени, какъ сталъ во главѣ пансіона, принятаго имъ въ сообществѣ съ братомъ, учителемъ уѣзднаго училища. Пансіонъ былъ для него не болѣе, какъ афера, и онъ имъ плохо занимался“.

Кудрицкій недолго учительствовалъ—умеръ отъ ~~жа~~хотки въ Симферополѣ, а „упитанный“

педагогъ-шарлатанъ вскорѣ возвратился въ Москву, гдѣ и сотрудничалъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ.“ „и до 1863 года и послѣ 1863 года“. Можетъ явиться вопросъ: какимъ же образомъ ученики Симферопольской гимназiи могли проникнуться чувствомъ глубокаго уваженiя къ Московскому университету, имѣя передъ глазами такихъ двухъ кандидатовъ-неудачниковъ, какими изображены они въ запискахъ Ѳ. Стулли.

Поищемъ въ томъ же городѣ, но уже внѣ стѣнъ гимназiи, добрыхъ рѣчей въ пользу Московскаго университета. Тутъ мои воспоминанiя приходятъ прежде всего въ соприкосновенiе съ именами двухъ студентовъ, прiѣзжавшихъ изъ Москвы въ Симферополь на время университетскихъ каникулъ. Студенты эти, Ярошевскiй и Щербань, также воспитанники Симферопольской гимназiи, раньше всѣхъ успѣвшiе добраться до Московскаго университета. Эти „умники-благоразумники,“ какъ величали ихъ въ Симферополѣ, всегда привозили одни лишь добрыя вѣсти о профессорахъ Московскаго университета. Вокругъ гостей-студентовъ собиралась гимназическая молодежь старшихъ классовъ и заслушивалась часто до поздняго вечера рѣчами словоохотливаго студента Щербаня, гдѣнибудь на бульварѣ или въ церковной оградѣ. Такое зрѣлище можно было видѣть и на ули-

цахъ Симферополя. Въ домахъ же, особенно, административно - аристократическихъ, можно было встрѣчать очень изящнаго юношу, благовоспитаннаго и прекрасно подготовленнаго къ поступленію въ Московскій университетъ. Онъ жилъ съ своей матерью. Этотъ заѣзжій юноша былъ Анатолій Куломзинъ, теперь извѣстный государственный дѣятель, живущій въ Петербургѣ. Симпатичный молодой человѣкъ производилъ самое отрадное впечатлѣніе на трусливыхъ провинціальныхъ мамашъ. Глядя на прекрасно воспитаннаго юношу, онѣ набирались рѣшимости относительно предстоящей разлуки съ своими дѣтьми-гимназистами. Какъ не послать своего сына учиться въ тотъ университетъ, куда поступаетъ обаятельный Анатолій Куломзинъ. И родители не ошибались въ оцѣнкѣ этого заѣзжаго къ нимъ юноши. Вскорѣ они читали въ письмахъ изъ Москвы такія слова:

...„Студенты юридическаго факультета подали недавно свои сочиненія. Между сочиненіями было одно подъ такимъ заглавіемъ: „О древней англійской политико-экономической литературѣ“. Сочиненіе очень хорошее и принадлежитъ оно А. Куломзину, твоему любимчику. Онъ тебѣ, отецъ, кланяется...“

Письмо съ такимъ содержаніемъ, само собою разумѣется, ходило по рукамъ и мысли всѣхъ мамашъ, дѣти которыхъ готовились къ

поступленію въ университетъ, неслись вдаль въ своихъ мечтаніяхъ. Онѣ сами уже желали, чтобы дѣти ихъ поскорѣй отправились въ Московскій университетъ и написали бы тамъ сочиненіе *еще лучшее*, чѣмъ написалъ Анатолій Куломзинъ. Родительскія сердца размягчались, кошельки развязывались и юноши улетали на сѣверъ, въ богоспасаемую Москву.

Были, разумѣется, и еще пути, по которымъ доходили до ушей молодежи хорошія слова о профессорахъ Московскаго университета. Жилъ, на примѣръ, въ то время въ Симферополѣ нѣкто Григорій Эммануиловичъ Карауловъ, мужъ большого ума, и слылъ за человѣка даже весьма ученаго, хотя окончилъ курсъ лишь въ Ришельевскомъ лицѣѣ. Онъ мнѣ рассказывалъ, что, по выходѣ изъ лица, ѣздилъ въ Москву, чтобы послушать славныхъ профессоровъ; думалъ даже сдать тамъ экзамень на степень кандидата, но что недостатокъ средствъ заставилъ его отказаться отъ этой мысли. Нужда принудила его ѣхать на службу въ провинцію—и вотъ какимъ образомъ онъ попалъ секретаремъ въ Симферопольскій приказъ общественнаго призрѣнія“. Но, зарабатывая себѣ хлѣбъ канцелярскимъ трудомъ, онъ не покидалъ своихъ ученыхъ занятій; составилъ и издалъ нѣсколко хорошихъ книгъ. Его статьи о Крымѣ помѣщались въ „Запискахъ Импер. Одесскаго

Общ. Исторіи и Древностей“, въ „Одесскомъ Вѣстникѣ“, въ журн. „Радуга“, который Карауловъ редактировалъ въ Феодосіи, въ 1860 г. „Радуга“, (L'arc-en-ciel) учено-литературный журналъ, издавался на русскомъ, французскомъ и армянскомъ языкахъ.— Въ 1870 году были отпечатаны Карауловымъ его „Очерки исторіи русской литературы“.— Въ 1863 г. въ Одессѣ вышелъ четвертымъ изданіемъ его „Путеводитель по Крыму“. Онъ зналъ хорошо языки: французскій, нѣмецкій, англійскій, итальянскій, греческій, латинскій и армянскій. Подготавливаясь къ поступленію въ университетъ, я бралъ у Караулова уроки латинскаго языка и очень любилъ его уроки.

Часто, по окончаніи урока, онъ возвращался къ своимъ воспоминаніямъ о Москвѣ, и мнѣ много разъ приходилось выслушивать его интересные рассказы о Грановскомъ, какъ о замѣчательной личности для исторіи русскаго общественнаго развитія. Припоминаю его рассказы о Кудрявцевѣ, объ личныхъ чертахъ его характера, чистаго и обаятельнаго, о близости его къ интересамъ учащагося юношества.

— „Дастъ Богъ попадете въ Москву, въ университетъ,—говорилъ онъ, то, разумѣется, наслушаетесь хорошихъ мыслей отъ профессоровъ. Но позвольте и мнѣ сказать вамъ нѣчто полезное: „никогда не пьянствуйте съ

товарищами-студентами и не теряйте вѣры въ Бога“.

И такъ, Ярошевскій, Щербань и Карауловъ— вотъ тѣ личности, которыя прославляли Московскихъ профессоровъ въ пятидесятыхъ годахъ на югѣ Россіи, въ глухомъ городишкѣ Крымскаго полуострова. Ярошевскій, Щербань и Карауловъ уже умерли, но смѣю думать, что добрая память о нихъ еще не умерла въ сердцахъ многихъ людей. Думаю, что многіе вспоминаютъ о нихъ съ чувствомъ глубокой благодарности за ихъ добрыя рѣчи. Можно сказать, что многіе изъ молодыхъ людей были, просто, спасены ими отъ той горькой участи, какой, обыкновенно, подвергались юноши-гимназисты того времени, кончавшіе высшее свое образованіе въ Одессѣ, въ Ришельевскомъ лицееѣ. Выходя на жизненный путь, эти лицеисты, по примѣру своихъ отцовъ, усаживались въ губернскихъ или уѣздныхъ канцеляріяхъ и, окристаллизовавшись тамъ въ форму титулярныхъ совѣтниковъ, примерзали къ своимъ сидѣніямъ до гробовой доски. Они, со словъ своихъ родителей и родственниковъ, глубоко вѣрили въ то, что „жить въ Россіи—значить родиться чиновникомъ; не служить—значить умереть“. Но вотъ, наступило, наконецъ, время, когда учащейся молодежи пришлось услышать и инныя мысли. Увлекательныя рѣчи талантливаго и

высокообразованнаго Щербаня возбуждали въ молодыхъ умахъ разныя свѣтлыя мысли, и юноши стали запасаться высшими идеалами для своей жизни. Многіе симферопольскіе гимназисты стали проникаться идеями честнаго служенія своей родинѣ. А для юношескаго возраста это было очень важно, такъ какъ, по мнѣнію профессора А. Пикитенко: „Человѣкъ бываетъ хорошъ только разъ въ жизни, въ юности. Потомъ онъ становится все хуже, портится, и если его не просолить всего насквозь до костей высшими вѣрованіями, идеями, то онъ еще задолго до смерти станетъ разлагаться“.....

Просолившись сперва хорошими идеями, чрезъ посредство благородныхъ рѣчей Щербаня и другихъ лицъ, крымская учащаяся молодежь, попавъ въ Москву, нашла тамъ новый хорошій разсолъ, въ которомъ и прокипятилась окончательно.

Въ 1856 году *) я видѣлся въ Москвѣ еще нѣсколько разъ съ Щербанемъ и Ярошевскимъ. Оба они окончили курсъ кандидатами: одинъ на юридическомъ, а другой на математическомъ факультетѣ. Щербань и Ярошевскій были хорошо извѣстны москвичамъ. Щербаня знали, какъ постояннаго сотрудника

*) Въ этомъ году Щербанемъ было подано профессору Капустину хорошее сочиненіе „О признаніи государствъ“. Историко-юридическое изслѣдованіе.

„Московскихъ Вѣдомостей“ и „Русскаго Вѣстника“, а Ярошевскій былъ извѣстенъ, какъ образцовый педагогъ, по учебникамъ котораго и до настоящаго времени учится молодежь въ средне-учебныхъ заведеніяхъ города Москвы. Щербань умеръ въ Парижѣ, Ярошевскій въ Москвѣ, Карауловъ въ Одессѣ. Щербань скончался скоростижно, въ Парижѣ, сидя въ театрѣ на представленіи какой-то новой пьесы, о которой долженъ былъ прислать корреспонденцію въ „Московскія Вѣдомости“.

II.

Повидавшись съ братьями К—ми, которые жили близъ Тверскаго бульвара, я узналъ отъ нихъ, что тутъ же, неподалеку, живутъ самыя близкіе моему сердцу студенты-крымчаки, П. А. Анцыферовъ и В. Москопуло. Къ нимъ то я и направился съ небольшимъ своимъ багажемъ. Жили друзья моей юности на Козихѣ, про которую студенты позднѣйшихъ годовъ сложили пѣсню. Вотъ первыя строчки этой пѣсни:

Есть въ Москвѣ одинъ шумный кварталъ,
Что Козихой давно прозывается.
Отъ зари до зари, лишь зажгутъ фонари
Шумной толпой тамъ студенты шатаются...

Но что такое, собственно, Козиха?

Мартыновъ, составитель книги: „Названія московскихъ улицъ и переулковъ“, говорить: „При объясненіи названія Козихи, мы не станемъ производить его отъ какихъ либо козь, которыя вовсе не могутъ считаться животными, предпочитающими болотную мѣстность. Въ приходѣ здѣсь находящейся церкви Св. Ермолая, въ 1716 г., находимъ мы загородный домъ князей Козловскихъ, отъ которыхъ эта мѣстность, вѣроятно, и получила свое прозвище, передѣланное впоследствии въ Козиху, подобно тому, какъ по домовладѣльцу Берсеневу, появилось урочище Берсеневка“.—Въ романѣ Басанина: „Клубъ Козицкаго дворянства“, гдѣ изображена жизнь студентовъ семидесятыхъ годовъ, вотъ что говорится о Козихѣ: „Это была мрачная и грязная, настоящая московская улица, собственно, даже и не улица, а цѣлая сѣть маленькихъ, узенькихъ, кривыхъ переулковъ, патыкавшихся другъ на друга и пересѣкавшихся по всѣмъ направленіямъ“.

Въ 1856 г. Козиха еще не воспѣвалась студентами. Въ то время на ней еще не помѣщался „Клубъ Козицкаго дворянства“. На ней тогда еще не шатались студенты толпами, да и студентовъ было тогда въ Московскомъ университетѣ еще немного, около 1725 человѣкъ, которые размѣщались не на одной Козихѣ, а по всей Москвѣ, да и не могли

бы размѣститься здѣсь въ маленькихъ деревянныхъ домишкахъ. Иное дѣло теперь, когда Козиха значительно застроилась и число студентовъ значительно увеличилось (до 5000 человекъ). Живя и теперь на Козихѣ, какъ жилъ здѣсь сорокъ лѣтъ тому назадъ, я имѣю возможность близко наблюдать современную студенческую жизнь, и могу сказать, что, дѣйствительно, студенты шатаются тутъ толпами и пьютъ и поютъ отъ зари до зари лишь зажгутъ фонари, и еще кое чѣмъ занимаются....

III.

II. А. Анцыферовъ *), студентъ высокаго роста и съ широкой грудью, помѣщался въ маленькой комнатѣ на Козихѣ, совмѣстно съ В. Москопуло, **) также человекомъ хорошаго роста, хотя и менѣе крѣпкаго сложенія, Послѣ дружескихъ объятій и взаимныхъ во-сторговъ отъ неожиданной встрѣчи, мы пошли по разнымъ переулкамъ и тупикамъ, чтобъ свидѣться со всѣми студентами-крымчаками и пригласить ихъ къ себѣ на вечерній чай. Надо замѣтить, что до 1856 г. въ аудиторіяхъ Московскаго университета числилось всего два студента—крымчака, Ярошевскій и Щер-

**) Умеръ въ Симферополѣ, исполняя должность преподавателя Окружнаго суда.

*) Умеръ рано, исполняя должность сельскаго учителя.

бань. Въ 1856 г. студентовъ-крымчаковъ было въ Москвѣ уже болѣе 15 человекъ.

Не помню, сколько земляковъ собралось тогда въ одной комнатѣ съ однимъ окномъ, но, очевидно, было ихъ много, такъ что синій цвѣтъ студенческихъ воротниковъ бросался въ глаза молодымъ бѣлошвейкамъ (изъ крѣпостныхъ) и производилъ впечатлѣніе. Лишь только подходили студенты къ окну, бѣлошвейки, сидѣвшія за работой у противоположнаго окна, оставляли пѣть свою пѣсню: „Черный цвѣтъ, мрачный цвѣтъ“, и принимались за другую:

Синій цвѣтъ, цвѣтъ небесъ,
Цвѣтъ студентовъ повѣсь...

Много было шуму, смѣха и потѣхи въ первый день нашего общаго свиданія въ Москвѣ. Рассказывалось про видѣнное или слышанное на московскихъ улицахъ, которыя все больше и больше наводнялись народомъ, прибывавшимъ въ столицу по случаю предстоящихъ дней священнаго коронаванія Императора Александра II.

Рассказывалось пріятелями другъ о другѣ что либо комическое, случившееся съ тѣмъ или другимъ въ столицѣ. II пріятель, надъ которымъ подсмѣивались, не огорчался, а также смѣялся вмѣстѣ съ товарищами, зная, что все говорилось здѣсь не ради злобы, а

ради шутки и веселья. Шутки прекращались лишь на время, когда хазяйка квартиры, внося самоваръ за самоваромъ, приглашала каждый разъ приступить къ чаепитію.

Изъ всѣхъ разказовъ этого вечера, въ памяти моей остались тѣ шутки, которыя разразились надъ студентомъ маленькаго роста, съ маленькимъ носикомъ и съ маленькой черной курчавой головкой. По происхожденію своему этотъ студентъ считался итальянскимъ графомъ; но его никогда не величали въ гимназіи такимъ титуломъ, а просто называли Ваня Андреевичъ. Шутка заключалась въ томъ, что Ваню Андреевича чуть ли не въ первый разъ возвеличали сіятельствомъ. И гдѣ же? Въ самой Москвѣ. Шутить по этому поводу надъ ново-открытымъ и признаннымъ графомъ чаще другихъ В. Москопуло, грекъ по рожденію. Шутить Москопуло и надъ другими товарищами, и шутки его, приправленныя греческими да татарскими поговорками, всѣмъ нравились, вызывая общій смѣхъ.

— А ну, разкажи, Ваня Андреевичъ, такъ началъ свой разказъ Москопуло, какъ тебя, человѣка отъ земли невиднаго, московскій извощикъ-лихачъ сразу возвысилъ до графскаго достоинства, крикнулъ во всеуслышаніе— „Ваше Сіятельство!“

Зная уже въ чемъ состоитъ соль этой шутки, собравшаяся здѣсь молодежь покати-

лась со смѣху. Одинъ я, не зная, въ чемъ состоитъ шутка, не смѣялся, а потому Москопуло нашель нужнымъ разказать мнѣ нижеслѣдующее:

—Нѣскольکو мѣсяцевъ тому назадъ, нашъ Ваня Андреевичъ, говорилъ Москопуло, получилъ кучу денегъ отъ своего родителя изъ Крыма, на обмундировку. И вотъ, проходя по Тверской улицѣ, зашелъ онъ сперва къ портному Занфлебену и, не торгуясь, заказалъ тамъ сшить себѣ хорошую студенческую пару. Нѣмецъ-портной сразу смекнулъ, что это не простой студентикъ.... Что къ изготовленной въ его мастерской студенческой парѣ приличествуетъ заказать сапоги у не менѣе знаменитаго сапожника и онъ порекомендовалъ француза Пиронэ. Графъ поступилъ согласно указанію нѣмца и заказалъ себѣ штиблеты у француза на имя графа *такого то*... Черезъ нѣскольکو дней нѣмецъ съ французомъ нарядили нашего дружка въ свои издѣлія, подвели его къ громадному зеркалу, въ которомъ отразилась величественная фигурка. Одежда и обувь на Ванѣ Андреевичѣ сіяли всею прелестью своей кожи и сукна!.. Закружилась курчавая головка отъ восторга и Ваня возмечталъ!.. Ему въ самомъ дѣлѣ представилось, что онъ засіялъ и что этого нельзя не замѣтить; что теперь товарищи по Симферопольской гимназій, никогда не величавшіе его

графомъ, увидя его въ блескъ красоты, невольно воскликнуть:— „Ваше Сіятельство“! Снова смѣхъ.

— Нарядившись въ издѣлія иноземныхъ мастеровъ, нашъ, все еще пока Ваня Андреевичъ, пустился въ припрыжку по Малой Бронной улицѣ, направляясь къ Никитскимъ воротамъ и далѣе по Никитской къ зданію университета. Хотя въ французскихъ сапожкахъ да на жиденькихъ ножкахъ и не совсѣмъ то удобно было выступать по московскимъ мостовымъ, но нашъ юный другъ бодро шагаетъ да шагаетъ все впередъ да впередъ, преодолевая боль, которую ощущалъ чрезъ жиденькія подошвы, подкинутыя французомъ къ его сапожкамъ. Увидя такую блистательную фигурку съ золотыми очками на крохотномъ носикѣ, московскій лихачъ сразу смекнулъ, не хуже нѣмца Занфтлебена, что это будетъ не изъ простыхъ студентовъ, и вотъ онъ воскликнулъ: „Ваше Сіятельство! прикажите прокатить“!—Пзумленный и обрадованный такимъ величаніемъ, Ваня Андреевичъ, не рядясь, садится на „гитару“ и лихо влетаетъ на дворъ университета. Расплачивается съ извощикомъ, разумѣется, щедро, а тотъ, снимая шапочку, вторично произноситъ ласкающія слухъ слова: „Ваше Сіятельство“!...

— Да почему ты, мой милый, знаешь, спрашиваетъ Ваня Андреевичъ, что я графъ

и что меня слѣдуетъ величать сіятельствомъ“?

— Помилуйте! это у насъ, извопниковъ, такая шутка: мы всякую дрянъ называемъ Вашимъ Сіятельствомъ.

Послѣ громоваго смѣха всѣхъ товарищей, рассказчикъ подошелъ къ улыбающемуся графу и, по греческому обычаю, взялъ его за ухо, что означало верхъ любезности.

Шутка, разумѣется, заключалась не въ насмѣшкѣ надъ личностью товарища, а надъ его непрактичностью и расточительностью. Извѣстно, что Занфтлебенъ и Пиронэ были самые дорогіе московскіе мастера и занимались изготовленіемъ заказовъ только для богачей—аристократовъ руками русскихъ крѣпостныхъ. Но Ваня Андреевичъ былъ не изъ богатыхъ итальянскихъ графовъ, слѣдовательно, влетѣлъ въ большой расходъ по обмундировкѣ, лишь по незнанію Москвы и по своей непрактичности.

Бесѣда продолжалась. Послѣ Москопуло сталъ рассказывать Иванъ К., закадычный другъ Вані Андреевича. Переводили они тогда вмѣстѣ какую то французскую комедію на русскій языкъ, желая поставить ее на сцену. Говорили они между собой часто по французски.

— Ну, а я расскажу вамъ, съ такими словами обратился П. К. къ товарищамъ, что

случилось потомъ съ французскими сапожками моего друга. Проходивъ въ нихъ дня три по московскимъ мостовымъ, нашъ пріятель замѣтилъ, что сапожки „запросили каши“. Идетъ онъ къ французскому сапожнику и укоряетъ того отборными французскими фразами въ непрочности его работы.

Французъ Пиронэ прикидывается, что не понимаетъ, чего отъ него хотятъ.

Ваня Андреевичъ повторяетъ свои слова: „Подошвы очень тонки“.

Тутъ французса-сапожника осѣняетъ мысль, и онъ съ удивленіемъ задаетъ такой вопросъ: Да развѣ господинъ графъ ходитъ пѣшкомъ, а не ѣздитъ?.. Французъ обиженъ. Какъ? Ему пришлось шить на простого смертнаго! Онъ негодуетъ на обманщика и съ гордостью произноситъ:—Я честно исполняю свою работу. Но если графъ не ѣздитъ въ своей каретѣ, а ходитъ пѣшкомъ, то... я краснѣю за него... Я вамъ рекомендую заказывать себѣ обувь у русскихъ сапожниковъ. Я вамъ рекомендую это... Я же шью обувь только для тѣхъ, кто ѣздитъ въ своихъ экипажахъ, а не ходитъ пѣшкомъ. Прашайте!..

Снова гомерическій смѣхъ съ частымъ повтореніемъ послѣдняго слова: „прашайте!“.. съ добавленіемъ: русскія денежки.

Иванъ К., юноша крупнаго склада и съ большой головой, былъ философъ, любилъ

читать серьезныя книги, выписывалъ лично для себя журналъ „Русскій Вѣстникъ“, который, какъ извѣстно, сталъ выходить въ Москвѣ съ 1856 г. Онъ зачитывался статьями этого журнала до того, что, сломавъ однажды стальную заушницу на своихъ очкахъ, долго не могъ собраться, чтобъ сходить къ оптику для исправленія очковъ, и носилъ ихъ на ниточкѣ, которая замѣняла стальную заушницу.

Подтрунивъ надъ своимъ другомъ, П. К. попробовалъ было „пополитиковать“, т.-е. хотѣлъ сообщить кое-что изъ политическаго отдѣла „Русскаго Вѣстника“, но товарищи не стали его слушать.

— Пичего политическаго, ничего философическаго не надо намъ на сей разъ, — оралъ Николай Антоновичъ Анцыферовъ.

Точно также отклонены были разговоры о паденіи Севастополя, о статьѣ: „Восточный вопросъ“.

— Давайте лучше говорить о Московскихъ диковинкахъ, объ Иванѣ Яковлевичѣ Корейшѣ, что-ли? и вечеръ пройдетъ веселѣе. — И снова шутки и рассказы посыпались со всѣхъ сторонъ.

IV.

Первый вечеръ, проведенный мною въ Москвѣ, въ кругу товарищей земляковъ, надолго

сохранился въ моей памяти. Такого радостнаго и добродушнаго настроенія духа среди знакомой мнѣ молодежи я уже вторично не видалъ. Никогда уже не пришлось мнѣ вторично услышать такъ восторженно пропѣтаго *Gaudeamus*'а, какъ былъ пропѣтъ тогда нами этотъ всемірный студенческій гимнъ! *Gaudeamus* мною былъ заученъ еще въ Харьковскомъ университетѣ. Знали его наизусть и всѣ мои земляки, что нельзя сказать о нынѣшнихъ студентахъ. А если гдѣ и поется еще эта студенческая пѣсня, то съ значительными сокращеніями, даже съ передѣлками разнаго рода, замѣною однихъ латинскихъ словъ другими *).

Въ этотъ вечеръ особенно былъ великолѣпенъ длинноносый студентъ грекъ Э. К—ли. Онъ явился въ студенческомъ мундирѣ, при шпагѣ и съ треуголкой на головѣ. Снималь свою треуголку и раскланивался только тогда, когда пѣли; „*Vivant omnes virgines*“. А при пѣніи: „*Pererat tristitia*“, К—ли забрасываль свою треуголку подъ столъ. Мы не умѣли пѣть тѣхъ пѣсень, какія пѣлись потомъ въ студенческихъ кружкахъ и являлись своего рода знаменемъ.

*) „*Gaudeamus*“ и „*Студенческія пѣсни*“, изданныя бывшими студентами Московскаго и Новорос. университетовъ представляютъ изъ себя изящно-иллюстр. брошюрки, которыя продаются въ Москвѣ, на Воздвиженкѣ, въ кн. маг. „*Сотрудникъ Школъ*“. Рецензія на „*Студенческія пѣсни*“ была помѣщена въ ж. „*Русская Школа*“ 1898, № 3, мартъ.

Когда былъ выпить послѣдній, по счету неизвѣстный, самоваръ воды, то было довольно поздно. Товарищи земляки, позѣвывая, разбрелись по своимъ квартирамъ, а я, не имѣя еще собственнаго угла, остался на ночевку у пріятелей. Свернувшись калачикомъ, я прямо улегся на полу и заснулъ крѣпчайшимъ сномъ. Я не помню теперь, кто подсунулъ мнѣ подъ голову подушку, но помню очень хорошо, что заснулъ безъ подстилки. Я не былъ пьянъ. А если и опьянѣлъ, то не отъ вина, а отъ избытка впечатлѣній этого вечера...

Проснулся рано и услышалъ, чрезъ отворенное ~~на~~стежъ окошко, какіе-то выкрикивающие звуки. Это были крики, какъ я потомъ хорошо узналъ, призывающіе покупателей къ лоткамъ, на которыхъ разносилась по домамъ разная живность къ услугамъ хлопотливыхъ хозяекъ. Зычнѣе всѣхъ былъ крикъ торговца, развозившаго на телѣгѣ уголья. Этотъ крикъ: уголья! уголья! уголья! звучитъ до сихъ поръ въ моихъ ушахъ. Отъ этого выкрикиванья я тогда и проснулся.

Лежа на полу и вслушиваясь въ разногласные звуки просыпающейся Москвы, я стала думать и заноситься своими мыслями не вѣсть въ какія невѣдомыя страны горя и нужды... Сердце мое забило тревогу!.. Чѣмъ жить въ Москвѣ? Какъ жить въ незнакомомъ городѣ? гдѣ жить и чѣмъ питаться? Какъ доставать

себѣ презрѣннаго металла на обувь и одежду?.. Тутъ мнѣ припомнились слова изъ пріятельскаго письма, что московскіе студенты, получающіе по 25 р. въ мѣсяць отъ своихъ родныхъ, находятъ возможнымъ помогать изъ этихъ денегъ еще и товарищамъ бѣднякамъ. Но кто же изъ бывшихъ вчера въ этой комнаткѣ получаетъ пособіе изъ дому въ такомъ размѣрѣ? Да и станутъ ли богатенькіе думать о нуждѣ своихъ товарищей? А бѣдненькихъ такъ достаточно насчиталъ я вчера среди своихъ земляковъ. Отчего же они, обездоленные, были вчера такъ веселы и безпечны? Я читалъ въ какой то книгѣ, что нѣкоторая доля легкомыслія даже необходима для того, чтобы не впадать слишкомъ часто въ отчаяніе. Это ли было здѣсь? Или товарищи-бѣдняки исповѣдывали страданіе и бѣдность, какъ сносности, придающія жизни серьезный характеръ? Не носили ли они въ своемъ сердцѣ евангельское изрѣченіе, что „не о хлѣбѣ единомъ чловѣкъ живѣ бываетъ“?.. И много еще разныхъ иныхъ мыслей прошло въ моей головѣ, пока не проснулся весельчакъ Москопуло. Этотъ хитроумный грекъ былъ мнѣ по душѣ, и я готовъ былъ уже излить передъ нимъ свои тревожныя чувства, какъ вдругъ услышалъ:

— „А что же мы будемъ пить и ѣсть сегодня“, заоралъ Москопуло. У насъ, вѣдь, не

осталось ни щепотки чаю, ни кусочка сахара отъ вчерашняго кутежа.

Сейчасъ начнется, подумалъ я, жалоба на горькую долюшку. Если ужъ этотъ фило-софъ-грекъ, лишь продравъ глаза, заораль о пищѣ и питьѣ, то мнѣ ужъ нечего стыдиться тревожившихъ меня мыслей, и я сталъ было излагать передъ нимъ откровенно только что сейчасъ передуманное мною...

— Вотъ вздоръ какой залѣзъ въ твою башку, воскликнулъ товарищъ, и при этомъ выпустилъ какую-то греческую брань. Забылъ, вѣрно, уроки нашего симферопольскаго законоучителя, о. Михаила Родіонова. Вѣдь, сколько разъ говорилъ онъ намъ, и говорилъ съ убѣжде-ніемъ, стараясь вколотить въ наши души правило, по которому мы въ своей жизни должны подражать птицамъ небеснымъ, кото-рыя ни сѣютъ, ни жнутъ, ни собираютъ въ житницы... Вотъ, и мы здѣсь тоже въ своемъ родѣ птицы залетныя. Вѣрь и надѣйся! Свѣтъ не безъ добрыхъ людей. Смотри смѣлѣе на жизнь и дальше этого не ходи! Не сокру-шайся, пожалуйста, размышленіями насчетъ пищи и прочаго земного, а не то затоскуешь и впрямь погибнешь преждевременно. Вѣрь, что мы сегодня будемъ сыты, а завтра, что будетъ, то и будетъ! Въ Москвѣ чуть не на каждомъ шагу можно встрѣтить благодѣтеля „въ минуту жизни трудную“. Да вотъ, одинъ

изъ нихъ уже взываетъ къ намъ, готовъ помочь намъ въ нашей бѣдѣ. Слушай, какъ онъ, благодѣтель то нашъ, неистово возглашаетъ: „Старыя вещи, старья, сапоговъ продавать“. Это былъ старьевщикъ. Я догадался въ чемъ дѣло и успокоился: вѣдь, и у меня могло найтись кое что для продажи старьевщику, слѣдовательно, на сей день и впрямь мы будемъ сыты. Студентъ Москопуло, хотя и былъ родомъ грекъ, но по-гречески только и зналъ обиходныя поговорки. Отецъ его, изъ Аѳинъ, жилъ въ Симферополѣ и владѣлъ порядочной гостинницей съ номерами для приѣзжихъ. Гостинница называлась „Аѳины“. Москопуло-отецъ и умеръ, не выучившись говорить по-русски, какъ сынъ его умеръ, не выучившись говорить по-гречески. Но за то Москопуло-сынъ научился отъ своего широконосаго отца понимать жизнь и людей. Присмотрѣвшись съ ранняго возраста ко всему житейскому, онъ не робѣлъ въ жизни и въ нуждѣ былъ находчивъ. Когда кто нибудь изъ новыхъ знакомыхъ, удивляясь его практическому уму, спрашивалъ: „гдѣ это вы, господинъ Москопуло, научились понимать людей? Можно подумать, что масса самаго разнообразнаго типа людей, съ ихъ разнообразными характерами, прошла передъ вашими глазами въ откровенномъ видѣ?...

— „О, да! отвѣчалъ Москопуло, едва сдер-

живая свой смѣхъ, я видѣлъ многое множество людей въ домѣ моего отца, который *жилъ открыто*, то есть, двери его дома были открыты для всѣхъ и днемъ и ночью: *отецъ мой содержалъ гостиницу для пріѣзжихъ*“. Позвавъ старьевщика черезъ открытое окно, Москопуло живо сбывъ ему свои старые сапоги и, получивъ нѣсколько гривенниковъ отъ „благодѣтеля“, мигомъ сбѣгалъ въ лавочку за покупками. Выбѣгая изъ дому, онъ приказалъ хозяйкѣ подавать поскорѣй самоваръ на столъ. Черезъ полчаса мы уже сидѣли за чайнымъ столомъ. Оставалось разбудить богатыря Н. Анцыферова, но это оказалось дѣломъ довольно труднымъ. Нашъ богатырь любилъ такъ поспать богатырскимъ сномъ и защищался по богатырски отъ нападающихъ на него во время сна, не разбирая, чѣмъ бьетъ и по какому мѣсту бьетъ своего врага. Но проснувшись, становился, по обыкновенію, кроткимъ и, кусая свои ногти, только посмѣивался надъ „баталіей“. Лишь только мы усѣлись втроемъ за чаепитіе, какъ явился къ намъ новый студентъ-крымчакъ, котораго не было вчера на нашей вечеринкѣ. Это былъ О. Чалисовъ.

— Вотъ и чудесно, говорилъ Москопуло, столъ о четырехъ сторонахъ и на каждой сторонѣ по чаепійцу. Безъ тебя, мой другъ, Чалисовъ, четвертая сторона стола проскучала бы.

Зная очень хорошо, какую неисходную нужду терпѣлъ Чалисовъ, когда учился въ Симферопольской гимназiи, я былъ и удивленъ и обрадованъ, встрѣтивъ его въ Москвѣ въ студенческой формѣ. Напившись съ нами чаю, Чалисовъ ушелъ на урокъ: онъ готовилъ какого то мальчика къ поступленiю въ гимназiю. Молодчина, подумалъ я, онъ даже нашелъ себѣ уже и урокъ въ Москвѣ. Я сталъ допрашивать Москопуло на счетъ того, какимъ образомъ Чалисовъ, „бѣдный еврейчикъ“, какъ онъ самъ себя называлъ въ шутку, могъ добраться до Москвы и найти здѣсь себѣ занятiя.

Вотъ что повѣдалъ мнѣ тогда Москопуло. Понаслушавшись въ Симферополѣ рассказовъ отъ Ярошевскаго и Щербаня о Москвѣ и объ московскихъ профессорахъ, Чалисовъ задался упорной мыслью—быть ему въ Москвѣ и слушать лекцiи въ университетѣ на медицинскомъ факультетѣ. Привыкнувъ съ раннихъ лѣтъ къ борьбѣ за существованiе, „бѣдный еврейчикъ“ былъ рѣшительнаго и изобрѣтательнаго характера, и вотъ что онъ придумалъ для того, чтобы добраться до Москвы. Узнавъ, что начальникъ Таврической губернии, генералъ Пестель (родной братъ декабриста Пестеля) переводится сенаторомъ въ Москву и уже приготовился къ выѣзду изъ Симферополя, Чалисовъ отправился прямо къ

эксъ-губернатору и сталъ просить довести его, эксъ-гимназиста, до Москвы, гдѣ онъ желаетъ поступить въ университетъ на медицинскій факультетъ.

— Я не смѣю и думать, спѣшилъ добавить Чалисовъ, ѣхать въ одной каретѣ съ вами, хотя это было бы для меня большимъ счастьемъ; но я прошу васъ, генераль, умоляю—прикажете Вашему слугѣ привязать меня къ колесу вашей дорожной кареты, и я, такимъ образомъ, никого необременя, могу докатить до Москвы.

Видя передъ собою взволнованнаго и торопливо-говорящаго юношу-гимназиста, добрякъ-генераль попросилъ его сперва присѣсть и успокоиться, а затѣмъ, выслушавъ вторично отъ эксъ-гимназиста его странную просьбу (на счетъ привязки къ колесу) рѣшилъ довести молодого человѣка до первопрестольной. И, дѣйствительно, довезъ и даже съ большимъ комфортомъ. Чалисовъ ѣхалъ также въ каретѣ, только позади генерала и не въ обществѣ съ нимъ, а рядомъ съ его слугою; но это не мѣшало „бѣдному еврейчику“ сладко ѣсть и сладко спать въ дорогѣ, въ теченіи продолжительнаго времени. Въ Москвѣ генераль Пестель продолжалъ участливо относиться къ Чалисову во время его горемычной студенческой жизни. Кажется, Чалисовъ получалъ въ университетѣ какую то стипендію.

Итакъ, Чалисовъ не пошелъ по слѣдамъ своихъ соплеменниковъ, не сдѣлался ни подрядчикомъ, ни ростовщикомъ. „Онъ пошелъ въ науку“, какъ зубоскалили надъ нимъ въ еврейскомъ кагалѣ. По выходѣ изъ университета, Чалисовъ жилъ на югѣ Россіи честно, съ истинно христіанской любовью относился къ своимъ паціентамъ-бѣднякамъ. На склонѣ лѣтъ онъ оглохъ, вслѣдствіе чего практика его значительно сократилась и приходилось жить съ семьей на скудныя сбереженія. Умеръ въ глухомъ городишкѣ Новороссійскаго края. Что случилось съ его семьей—не знаю. Жизнь „бѣднаго еврейчика“ представляетъ собой много поучительнаго для людей робкихъ, которыхъ страшить, при вступленіи въ жизнь, борьба за существованіе... Выслушавъ отъ Москопуло разказъ про упорное стремленіе Чалисова къ намѣченной цѣли, я подбодрился духомъ и отправился на поиски себѣ подходящей комнатки для жилья въ одиночку. Хотя совмѣстное жительство и дешевле и удобнѣе одиночнаго, но я всегда предпочиталъ жить особняковъ. Въ тотъ же день я и пошелъ для себя подходящую комнатку въ одно окно за три рубля въ мѣсяцъ. Въ комнаткѣ стояла кровать съ тюфячкомъ, столъ, два стула и рукомойникъ съ водой. На подоконникѣ стояли два горшка съ какими то цвѣтами. На окнѣ висѣла бѣлая занавѣска.

Такой свѣтлой и чистенькой комнатки нельзя теперь найти на Козихѣ даже за десять рублей въ мѣсяць. Устроившись на собственной квартиркѣ съ узелкомъ своихъ вещей и купивъ себѣ подушку да одѣяло, я сталъ подумывать на счетъ обѣдовъ. Тутъ я припомнилъ „тетушку“, о которой мнѣ было уже извѣстно изъ писемъ А. К—ича. „Тетушка“ была извѣстна Анциферову и Москопуло. Вотъ мы въ троемъ туда и направили свои шаги, то есть, въ Леонтьевскій переулокъ, выходящій однимъ своимъ концомъ на Тверскую улицу, а другимъ на Большую Никитскую. Отъ церкви св. Ермолая, гдѣ я поселился на житье, приходилось дѣлать ежедневно значительные концы, чтобы добраться до „тетушки“. Хотя и далеко, но зато ходить было туда легко, зная, что „тетушка“ накормитъ хорошо. Знаменитая „тетушка“ питала всѣхъ своихъ многочисленныхъ племянниковъ, то есть, студентовъ Московскаго университета, здоровою и вкусною пищею. Ставила она предъ каждымъ ея нахлѣбникомъ только одну миску горячаго кушанья, а въ той мискѣ, во щахъ или въ борщѣ, плавалъ всегда кусокъ хорошаго черкаскаго мяса. Теперь такого мяса уже не подають посѣтителямъ даже въ дорогихъ кухмистерскихъ. Черная деревянной ложкой изъ своей миски борщъ или щи, студентъ могъ при этомъ съѣдать чернаго хлѣба, сколько

душѣ угодно. Хлѣбъ подавался домашняго изготовленія, прекрасно выпеченный. По праздникамъ дѣлалось какое либо прибавленіе, въ видѣ пироговъ съ мясомъ, рыбой или творогомъ. Если студенту было мало одной миски горячаго, то онъ могъ потребовать себѣ и вторую, и „тетушка“ отъ такого требованія приходила только въ восторгъ. „Кушай, голубчикъ, кушай на здоровье, что Богъ послалъ. Спасибо, что тебѣ припалась по вкусу стряпня моей старухи-сестрицы“.

Каждаго вновь входящаго „тетушка“ встрѣчала ласково и съ поклонами. А усаживая за столъ, который всегда былъ покрытъ, хотя и грубою, но чистою скатертью, „тетушка“ непременно указывала гостю на большой поясной портретъ какого то господина, изображеннаго масляными красками въ очень тучномъ видѣ. Подъ портретомъ была четкая подпись:

„Вотъ какъ кормитъ тетушка“!

Затѣмъ слѣдовало объясненіе всего этого. Написалъ этотъ портретъ для меня, говорила „тетушка“, одинъ изъ моихъ давнихъ нахлѣбниковъ, тоже былъ студентъ. Уѣзжая изъ Москвы, когда кончилъ свое ученіе, онъ оставилъ мнѣ на память этотъ свой портретъ. Гляди какимъ откормленнымъ онъ выглядитъ съ картины. Это онъ самъ и писалъ съ себя свой портретъ. И подписалъ онъ же, что

„тетушка“ кормить хорошо. Теперь онъ служитъ гдѣ то „въ губернаторахъ“. Когда приѣзжаетъ въ Москву, то всегда заходитъ сюда хлѣба-соли откушать, да добрыхъ рѣчей отъ молодыхъ людей послушать“.

Пояснивъ все это, „тетушка“ толстуха отправлялась въ кухню за ѣдой для новаго нахлѣбника. „Тетушка“ носила платье нѣмецкаго покроя, но голову свою повязывала платкомъ по крестьянски. Спали сестры на одной широкой кровати, помѣщавшейся тутъ же въ столовой. Кровать содержалась ими въ безукоризненно чистомъ видѣ, со взбитыми на ней подушками, въ бѣлыхъ наволочкахъ. Къ „тетушкѣ“ приходилось взбираться по крутой деревянной лѣстницѣ, во второй этажъ. Входъ былъ со двора. Никакой тутъ вывѣски не было, но всѣ умѣли находить хлѣбосольную мѣщанку, когда нуждались въ ея вкусныхъ изготовленіяхъ. Кажется, что каждому московскому студенту того времени была извѣстна „тетушка“. Если кто и не обѣдалъ у ней, то навѣрное слышалъ отъ своихъ товарищей рассказъ о добродѣтеляхъ ея, о портретѣ эскъ-студента, изображеннаго въ столь упитанномъ видѣ и столь почтительнаго въ глазахъ „тетушки“. Теперь ужъ нѣтъ въ Москвѣ такихъ „тетушекъ“. Курить за обѣдомъ „тетушка“ не позволяла, и съ особеннымъ уваженіемъ смотрѣла на тѣхъ, кто, сядя за

столь, крестился передъ иконою, висѣвшей въ углу ея комнаты. Такимъ молодымъ людямъ даже благоволила лучшими кусками черкаскаго мяса; только такимъ и подавала чистую салфетку....

V.

Не стану описывать всѣхъ празднествъ, которыми изобиловали августовскіе и сентябрьскіе дни 1856 г. по случаю священнаго коронованія Императора Александра II. Скажу только о себѣ, да объ нѣкоторыхъ изъ товарищей по Московскому университету. Увлекаемые народными массаами, мы устремлялись къ царской коляскѣ, чтобы поближе увидѣть доброе лицо Самодержца, отъ котораго вся волнующаяся сѣрая толпа народа ждала немалого—освобожденія милліоновъ людей отъ крѣпостной зависимости. Крестьяне становились прямо на подножки царской коляски и жадно всматривались въ глаза грядущаго Царя-Освободителя. Императоръ, глядя на нихъ, улыбался, и ничья рука не смѣла отбрасывать народа отъ царской коляски. Однажды, близъ Боровицкихъ воротъ, царская коляска была окружена такою массою народа, что лошади остановились. На этомъ мѣстѣ и мы были притиснуты къ коляскѣ. Памъ тогда казалось, что Императоръ смотрѣлъ именно на насъ,

на молодыхъ людей съ голубыми воротниками, и смотрѣлъ съ любовью, какъ на будущихъ своихъ помощниковъ въ томъ трудномъ дѣлѣ, которое онъ задумалъ совершить на благо всей Россіи. Намъ казалось, что во взглядѣ Императора выразалось ожиданіе отъ насъ чего-то добраго, хорошаго. Эта встрѣча наша съ Императоромъ случилась послѣ 26-го августа и послѣ того, какъ была нами прочитана восторженная рѣчь Н. Ф. Павлова, произнесенная имъ 3-го сентября на обѣдѣ, въ гостинницѣ Шевалье. Рѣчь была сказана среди обѣда предъ собравшимися русскими литераторами, изъявившими желаніе выразить свое сочувствіе великому государственному торжеству.

Рѣчь Н. Ф. Павлова.

„Господа, въ два дня, въ двухъ нумерахъ газетъ, сколько плодотворныхъ впечатлѣній! Съ Петра Великаго вы не назовете никакой эпохи въ нашей исторіи, гдѣ бы такъ много было сдѣлано въ такое небольшое время. Конечно, это не оглушительный громъ оружія, не побѣдный кликъ на развалинахъ чужого жилища,—это подвиги, болѣе согласные съ требованіемъ вѣка; у нихъ болѣе правъ на благословеніе народа; въ нихъ болѣе человѣческаго христіанскаго значенія. Благоговѣнные помыслы о предержавшей власти, сохра-

нившей и возвеличившей Россію, есть святой долгъ, налагаемый и оправдаемый самымъ пытливымъ разумомъ; но счастливо время, въ которое исполненіе долга сливается съ желаніями сердца; но радостна жизнь, если не разберешь, что велитъ долгъ и что внушаетъ любовь. Скажите, разобрали-ль вы, чѣмъ недавно, чувствомъ долга или чувствомъ любви билось ваше сердце, когда ваши глаза, застилаемые докучливой слезой, останавливались невольно на трехъ незабываемыхъ словахъ: *отмѣнить, простить, возвратить*. И какъ счастливы были вы, зная, что ужъ эгихъ словъ никто на землѣ отмѣнить не можетъ. Шекспиръ называетъ скипетръ знакомъ временнаго могущества, а милосердіе принадлежностью самого Бога. Въ исторіи много примѣровъ милосердія; но всегда ли излѣчивалось разомъ столько ранъ; но вездѣ ли съ такимъ всеобъемлющимъ челоуѣколюбіемъ отгадывались разнообразныя боли челоуѣческаго сердца? Воображеніе не въ силахъ обнять эту массу страданій, эгихъ людей всѣхъ сословій, всѣхъ вѣръ, всѣхъ народностей, которыхъ лучи милосердія отыщутъ въ глухихъ неизвѣстныхъ мѣстностяхъ, на необъятыхъ пространствахъ.

Поднимите же, господа, веселые надеждой, отъ всей души, отъ всего сердца, ваши бокалы во здравіе и во славу Того, чье Вы-



сокое Имя начертано петлѣнными буквами подь словами: *отмѣнить, простить, вернуть*; за кого въ эту минуту бѣжитъ еврей изъ грязной корчмы въ шумную синагогу молиться своему Іеговѣ; о комъ увѣчный солдатъ, бѣдная солдатка шлють теплыя молитвы христіанскому Богу, судорожно сжимая въ объятіяхъ возвращеннаго имъ сына; кто насъ и нашихъ братьевъ по крови, разрозненныхъ съ нами исторіей, соединяетъ въ одно свѣтлое, радостное, благодарное чувство; кто открываетъ намъ широкій путь къ просвѣщенію; кто повелѣлъ растворить двери университетовъ; кто снялъ преграды къ сближенію народовъ, къ обмѣну разныхъ образованностей; кто не забылъ въ пустыняхъ Сибири ни согрѣшившихъ отцовъ, ни безгрѣшныхъ дѣтей; кто въ просвѣщенной благодати вспомнилъ всѣхъ и все не отъ избытка даровъ милосердія, какими располагаетъ Ёго могущество, а отъ нѣжнѣйшей заботливости, отъ того всепонимающаго чувства христіанской любви, которое останется на страницахъ исторіи *).

Мы, юноши, были сильно наэлектризованы рѣчью Павлова. Да иначе и быть не могло: мы не были бы молодой Россією, если бы, при видѣ общаго оживленія, не заразились

*) См. „Русскій Вѣстникъ“ 1856 г. томъ 5-й. „Современная лѣтопись“.

бы радостнымъ чувствомъ. Намъ уже сталъ улыбаться просторъ мыслей и занятій. Мы становились либералами.

VI.

Вторая моя встрѣча съ Императоромъ случилась 22 сентября въ университетѣ.

Вотъ что мы читаемъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ того времени:

День 22-го сентября 1856 г.

Его Императорское Величество прибылъ въ половинѣ второго часа пополудни въ старое зданіе университета, гдѣ изволилъ осматривать библіотеку, кабинеты: минералогическій, анатомическій, мюнцъ-кабинетъ, и въ отдѣленіи казенно-коштныхъ студентовъ спальни, рекреационные залы и кухню.

Затѣмъ въ актовомъ залѣ, наполненной собравшимися студентами, Его Императорское Величество изволилъ выразить имъ монаршую благодарность за тѣ чувства, которыя они оказали во время празднованія столѣтняго юбилея университета, и за ту готовность, съ которою многіе изъ нихъ во время прошедшей войны вступили въ военную службу и доказали на дѣлѣ свою приверженность престолу и отечеству. Къ этому Государь Императоръ соблаговолилъ присовокупить, что они „будутъ и впредь достойными, какъ знаменитыхъ учредителей университета, такъ и той доброй

славы, которою онъ пользуется“. Драгоценныя выраженія, выслушанныя съ благоговѣніемъ, заключились восторженнымъ: ура! тронутыхъ студентовъ.

Изъ стараго зданія университета Его Императорское Величество изволилъ прибыть въ новое, гдѣ посѣтилъ церковь и удостоилъ осмотра кабинеты: зоологической, физической и аудиторію, гдѣ читаются лекціи. Государь Императоръ изволилъ отбыть въ половинѣ третьяго часа, сопровождаемый до воротъ университета единогласнымъ сердечнымъ: ура! осчастливленныхъ студентовъ“.

Нѣтъ словъ для передачи тѣхъ чувствъ, которыя переживались мною въ актовомъ залѣ Московскаго университета, куда явился Императоръ, чтобъ сказать нѣсколько привѣтливыхъ словъ къ русской молодежи. Столпившись вокругъ Императора, мы едва слѣдили за нимъ по залѣ, едва слышали звуки его голоса; но мы зато сильнѣе чувствовали, что среди насъ находится та высоко-христианская сила, отъ которой только и можетъ выйти все благо для подавленной народной массы. Не въ этотъ ли моментъ моей жизни пробудилось у меня искреннее желаніе послужить самоотверженно своему Государю и тому великому дѣлу, которое, по Его волѣ, готово было осуществиться на Руси?

Я думалъ тогда, что всѣ студенты всѣхъ Императорскихъ университетовъ должны бы были теперь заняться исключительно освобожденіемъ народныхъ массъ отъ умственного рабства; просвѣтить затемненный злобою умъ и смягчить наукою ожесточенное неправдою его сердце..... Мнѣ казалось, что задача всей жизни для молодежи должна теперь состоять въ томъ, чтобы помочь своему Государю въ Его трудной работѣ, *не отступая назадъ, какъ бы ни послѣдовали на Руси перемѣны.*

VII.

Въ концѣ сентября мѣсяца разнеслась вѣсть, что профессоръ Кудрявцевъ вторично уѣзжаетъ за-границу на довольно продолжительное время. Пошли толки и сожалѣнія. Огорчались, особенно, тѣ изъ насъ, кому не удалось еще побывать на лекціяхъ его. „Грановскаго не пришлось услышать, роптали студенты, пожалуй, что и лекцій Кудрявцева не придется послушать. Возвратится ли онъ изъ чужихъ краевъ? Говорятъ, что онъ недолговѣченъ.“

Съ Кудрявцевымъ мы были знакомы только по его статьямъ, которые печатались въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ (1856). Мы тогда зачитывались вообще всѣми статьями, помѣщавшимися въ этомъ либеральномъ журналѣ и осо-

бенно любили читать статьи „Политическаго Отдѣла“, которымъ завѣдывалъ П. Кудрявцевъ.

Когда Кудрявцевъ выѣхалъ изъ Москвы, то мы узнали, что ему былъ устроенъ прощальный обѣдъ на Рождественкѣ, въ квартирѣ Н. Ф. Павлова; что на обѣдѣ говорились рѣчи; что одна изъ рѣчей была произнесена студентомъ историко-филологическаго факультета, Рыбниковымъ. Рѣчь его почему то понравилась студентамъ, которые списывали ее охотно себѣ на память.

Павель Рыбниковъ, студентъ 25 лѣтъ отъ роду, происходилъ изъ купеческой семьи и воспитывался въ 3-ей московской гимназiи. Онъ былъ довольно стройнаго сложенiя и съ лица даже благообразенъ. Рыбникова знали уже многіе изъ студентовъ. А незнавшіе его искали знакомства съ нимъ, стараясь попасть къ нему на вечеръ, гдѣ можно было встрѣтиться съ литературными знаменитостями (Аксаковыми, Хомяковымъ и др.). Кромѣ того, тамъ же можно было достать хорошія книги для чтенiя. А жажда къ чтенiю у насъ была непреодолимая.

Само собою разумѣется, что всякій, попавшій въ „Рыбниковскій кружокъ“, зналъ чуть ли не наизусть рѣчь его, произнесенную имъ передъ обществомъ ученыхъ людей, провозжавшихъ Кудрявцева въ чужіе края.

Лекціи тѣхъ профессоровъ, которыхъ при-

шлось намъ слушать на первомъ курсѣ юридическаго факультета, насъ не удовлетворяли.

Жалкая студенческая библіотека, существовавшая при университетѣ, не могла удовлетворить нашей умственной жажды, хотя къ январю мѣсяцу 1897 г. состояло на лицо 3,012 сочиненій, въ 5736 томахъ и 20 періодическихъ изданій.

Въ 1856 году въ студенческой библіотекѣ выписывались слѣдующіе журналы и газеты: 1) „Русскій Вѣстникъ“, 2) „Русская Бесѣда“, 3) „Le Nord“.

Мы стали искать себѣ образованія и развитія внѣ стѣнъ своего университета, на Никольской улицѣ, въ лавочкахъ букинистовъ—Кольчугина и другихъ. Тамъ мы рылись въ разномъ книжномъ хламѣ, покупали журналы за старые года, вырѣзывали изъ нихъ статьи Бѣлинскаго, Чаадаева, Искандера, Салтыкова, Достоевскаго и другихъ писателей; переплетали все это въ отдѣльныя книжечки, которыя и истрепывались въ студенческихъ рукахъ. Въ каждомъ студенческомъ кружкѣ была своя маленькая библіотека изъ такихъ книжекъ, которыя наиболѣе удовлетворяли потребностямъ, накипавшимъ въ юныхъ горячихъ головахъ. Статьи въ стихахъ или въ прозѣ, въ которыхъ затрогивался крестьянскій вопросъ, собирались всѣми съ особеннымъ стараніемъ.

Возлѣ студентовъ, у которыхъ оказывалось наибольшее количество желанныхъ книжекъ, всегда и группировалась молодежь. „Кружокъ Рыбникова,“ помѣщавшійся на Спиридоновкѣ, былъ однимъ изъ такихъ, гдѣ собиралась молодежь въ наибольшемъ количествѣ. Въ огромной комнатѣ, въ извѣстные дни и часы, сходились не только студенты, но появлялись тамъ и гвардейскіе офицеры изъ Питера и сельскіе священники изъ глухихъ деревень и духоборцы, прїѣзжавшіе въ Москву изъ далекихъ окраинъ Россіи, чтобы послушать краснорѣчиваго и словоохотливаго Алексѣя Степановича Хомякова, постоянного посѣтителя на этихъ вечерахъ. Мы, студенты, искавшіе истины, сидѣли рядышкомъ вдоль просторной комнаты, а передъ нами въ рубашкѣ косовороткѣ, съ поджатой подъ себя ногой, воссѣдалъ на диванѣ А. С. Хомяковъ. Велъ онъ оживленный споръ почти всегда съ однимъ и тѣмъ же достойнымъ противникомъ его по словоизверженію, со студентомъ Свириденко. Этотъ студентъ-медикъ перваго курса былъ 29 лѣтъ. Родомъ изъ купцовъ, довольно тучный, такъ что студенческой сюртукъ на немъ сидѣлъ нескладно. Съ лица былъ некрасивъ, но съ языка говорливъ.

Спорили Хомяковъ и Свириденко между собой очень красиво и достаточно горячо. Они, такъ сказать, играли словами и выраженіями,

баловались красивыми оборотами своей рѣчи, пересыпая ее иностранными словами, вовсе для насъ непонятными.

Они видимо старались сдѣлать на насъ, новичковъ, хорошее впечатлѣніе. Но мы, воспитанники захолустныхъ гимназій, не искусившіеся еще Гегелемъ, не понимали ихъ усилій. Хотя многое въ рѣчахъ умныхъ и ученыхъ людей было для насъ непонятно, но мы все таки не покидали собранія и терпѣливо засиживались до разсвѣта. Уходили мы оттуда съ отуманенными головами отъ философскихъ словоизверженій, но съ чистыми сердцами и съ вѣрой, что мы стоимъ теперь въ рядахъ передовой русской молодежи, готовой израсходовать беззавѣтнымъ образомъ свои молодые силы на пользу родины.

Желая все таки понять то, о чемъ говорилось въ „Рыбниковскомъ кружкѣ“, мы, получая оттуда книги или рукописи, пережевывали неудоваримыя выраженія у себя по квартирамъ. А чтобы лучше обсуждать прочитанное или прослушанное въ „Рыбниковскомъ клубѣ“, мы положили собираться въ Леонтьевскомъ переулкѣ (рядомъ съ „тетушкой“) въ большой комнатѣ, примыкавшей къ моему скромному помѣщенію. Платили за сборную комнату сообща.

Собирались въ этомъ новомъ кружкѣ, какъ студенты-крымчаки, такъ и молодые люди изъ

разныхъ мѣсть Россіи. Тутъ собирались большей частью вновь познакомившіеся между собою въ аудиторіяхъ Московскаго университета. Знакомство завязывалось на почвѣ освободительныхъ идей и общей готовности послужить дѣлу народнаго образованія.

Готовясь сдѣлаться народными учителями, мы стали строго слѣдить за собственными поступками, а также и за поступками своихъ товарищей по университету. Такимъ образомъ, вотъ какъ зародилось увлеченіе самобичеваніемъ и изобличеніемъ. Отсюда и вытекло стремленіе къ осуществленію рукописнаго журнала, который и сталъ выходить позднѣе подъ названіемъ „*Изобличитель*“.

Проходивъ до Рождественскихъ праздниковъ на скучнѣйшія лекціи профессоровъ юридическаго факультета, промучившись еще на полугодовой репетиціи, самые прилежные изъ студентовъ почувствовали душевное облегченіе, когда настали зимніе каникулы. У нихъ явилось больше досуга отъ ежедневнаго записыванія и зазубриванія лекцій, и вотъ они стали чаще заглядывать въ „*Нашъ кружокъ*“ и въ постороннія книжки; изъявили даже желаніе быть подписчиками въ числѣ прочихъ на „Русскій Вѣстникъ“ въ будущемъ 1857 году. А если найдутся средства и охота подписаться на „Русскую Бесѣду“, то они и въ этомъ случаѣ готовы примк-

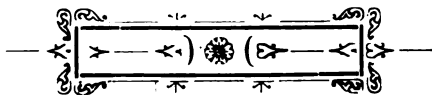
нутъ къ намъ съ своими кошельками. Большая часть этой молодежи была сильно заинтересована объявленіемъ о томъ, что съ 1857 г. начнетъ выходить „Журналъ для Воспитанія“ подъ редакціею Чумикова и при дѣятельномъ участіи въ немъ эксъ-профессора Московскаго университета, Рѣдкина. Этотъ послѣдній заявилъ свои образцовыя мысли по части педагогики еще въ то время, когда участвовалъ въ выходившей въ Москвѣ „Библіотекѣ для Воспитанія“. Рѣшено было съ слѣдующаго года записаться на журналъ „Русскій Вѣстникъ“ и на какую нибудь газету, а также и на „Журналъ для воспитанія“.

Въ послѣдній день декабря мѣсяца 1856 г., т. е. въ ночь подъ новый 1857 г., мы устроили традиціонную жженку по желанію и на средства одного изъ богатенькихъ студентовъ, перешедшаго въ Москву изъ Дерпта и вступившаго въ „*Нашъ кружокъ*“. Въ темной комнатѣ, при голубоватомъ свѣтѣ отъ горящаго спирта, мы запѣли *Gaudeamus*. Когда дошли до словъ „*Uivat academia! Uivat professores*“, то одинъ изъ студентовъ-юристовъ опротестовалъ: „Не стану прославлять Орнатскаго! *Regeat* Орнатскій!“ Поднялся шумъ и споръ. Одни говорили, что кромѣ Орнатскаго въ университетѣ есть и другіе, хорошіе профессора. Кончился споръ на томъ, чтобы на собраніяхъ пѣть, кромѣ *Gaudeamus*'а

еще какую нибудь русскую пѣсню, въ которой говорилось бы про молодость и хорошія ея свойства. Но какую? У меня былъ сборникъ въ прозѣ и стихахъ „Раутъ“ за 1852 г. Изданіе Н. Сушкова, въ Москвѣ. Тамъ было напечатано одно подходящее стихотвореніе, изъ котораго у меня остались въ памяти нижеслѣдующія строчки:

ЮНОСТЬ.

Въ тебѣ, о юность, все мнѣ свято!
Но не за то мнѣ ты мила,
Что ты весельемъ такъ богата,
Что ты въ надеждахъ такъ смѣла.
За свойства лучшія, инья
Тебя, я, молодость, люблю;
За чувства рыцарства прямыя
И за довѣрчивость твою!
За то, что опытомъ холоднымъ
Не связанъ добрый твой порывъ
Что не молчитъ въ тебѣ призывъ
Къ дѣламъ и цѣлямъ благороднымъ.



Изъ воспоминаній о Московскомъ университетѣ.

И. А. Митропольскаго (1857—62 гг.).

Наше студенчество рѣдко, къ сожалѣнію, имѣетъ возможность вести правильно и систематически свое университетское ученіе. Въ массѣ своей бѣдное, вынужденное добывать средства къ существованію уроками и другимъ трудомъ, отвлекающими не только отъ посѣщенія лекцій, но и вообще отъ занятій наукою, оно въ лучшемъ случаѣ пробавляется литографированными лекціями профессоровъ своихъ и рѣдко можетъ пользоваться другими научными пособіями. Отъ этого-то и происходитъ обычный невысокій уровень нашего университетскаго образованія. Помѣха бѣдности въ этомъ образованіи сознавалась въ мое время и людьми, руководившими у насъ просвѣщеніемъ, и ставилась ими, какъ аргументъ противъ допущенія бѣдныхъ людей въ университеты. „Къ чему бѣдному человѣку высшее образованіе?“ говоритъ графъ Строгановъ. Но эти, дошедшія до насъ по преданію, слова попечителя, насъ, бѣдняковъ, вооружали противъ него и оскорбляли. Къ сожалѣнію, однако, немногіе изъ насъ чувствовали и понимали, насколько бѣдность мѣшаетъ именно

ученью, я не жизнерадостному студенческому существованію. Состоятельные и обеспеченные товарищи въ общемъ не болѣе заняты были ученьемъ, чѣмъ тѣ, кто жилъ своимъ трудомъ.

Въ то время былъ къ тому-же и большой недостатокъ въ учебныхъ пособіяхъ по медицинѣ, и трудно было ихъ добывать. Единственнымъ источникомъ для нихъ бѣдному студенту служила университетская библіотека. Но добыть изъ нея что-либо нужное студенту было нелегко. Интересная, хорошая книга обыкновенно отсутствовала, предвосхищенная кѣмъ-либо изъ студентовъ и передаваемая преимущественно знакомымъ товарищамъ, а то и просто покоясь на письменномъ столѣ у кого-либо изъ профессоровъ. Отвѣты: занята, взята, читается, а то и просто, нѣтъ такой, отъучили меня отъ назойливыхъ попытокъ раздобываться книгами изъ библіотеки. Какая разница, теперь, благодаря румянцевской и другимъ библіотекамъ!

Поступило насъ на первый курсъ факультета болѣе четырехъ сотъ человѣкъ, такъ что тѣсно было, при экстренныхъ общихъ сборахъ курса, и въ самой большой аудиторіи университета. Анатомическій же амфитеатръ и не вмѣстилъ бы насъ, если-бы студенты аккуратно и всѣ посѣщали лекціи даже по такому важному для медика предмету,

какъ анатомія. Но отъ многолюдства мы не терпѣли на лекціяхъ. Студенты, частію въ промыслѣ за кускомъ хлѣба, частію пользуясь свободой, исправно манкировали въ серьезный уцербъ себѣ, надѣясь на профессорскія записки и слѣдуя въ этомъ примѣру своихъ предшественниковъ. Записки эти существовали по каждому предмету, исключая анатоміи, то писанныя, то литографированныя, и передавались чуть ли не изъ поколѣнія въ поколѣніе у профессоровъ, долго засиживавшихся на своей кафедрѣ. Наука, по теоретически преподаваемымъ предметамъ, стояла въ факультетѣ неподвижно. Нѣкоторые профессора и лекціи свои читали по тетрадкѣ, такъ что слѣдя за ними по собственной тетрадкѣ, можно было подсказывать профессору слово, предъ которымъ онъ остановился. Проверка собственныхъ тетрадокъ профессорскимъ чтеніемъ была необходима у тѣхъ профессоровъ, которые, какъ А. И. Полунинъ, напр., слѣдили за своей наукой и соотвѣтственно этому измѣняли и пополняли свои лекціи. Но такая проверка производилась компанейскимъ путемъ. Кружокъ знакомыхъ между собою студентовъ, имѣющихъ профессорскія лекціи, чередовался между собою въ повѣркѣ своихъ тетрадокъ. Для этого, впрочемъ, не было настоятельной надобности кому либо изъ кружка соблюдать свою очередь быть на лекціи для

этой цѣли. Можно было послѣ спросить у члена другого кружка, имѣвшаго лекціи, не было-ли сказано чего новаго, и по тетрадкѣ его исправить свою. Вслѣдствіе этого, кружокъ, обладавшій лекціями, считалъ себя обезпеченнымъ, и посѣщеніе аудиторій для себя излишнимъ. Изъ непринадлежавшихъ къ такому кружку, одни, изъ безпечныхъ, рассчитывали со временемъ примазаться къ какому либо изъ нихъ, а другіе добывали лекціи для списыванія ихъ, находя болѣе удобнымъ имѣть собственныя тетрадки; и тѣ и другіе рѣдко заглядывали въ аудиторію.

Исключеніе составляли лекціи нѣкоторыхъ профессоровъ, оцѣнивавшихъ посѣщеніе своихъ лекцій студентами уже за одно механическое присутствованіе на нихъ. Намозолившіе глаза такому профессору, студенты пользовались отъ него снисхожденіемъ на экзаменахъ; напротивъ, студенты, чья фізіономія оказывалась профессору незнакомою, экзаменовались придирчиво и нерѣдко привѣтствовались проницательнымъ вопросомъ: „какого вы университета, г. студентъ?“ Этотъ, удивленный такимъ вопросомъ, отвѣчаетъ: „Конечно здѣшняго, московскаго, г. профессоръ“. „Какъ же мы васъ на лекціяхъ у себя невидывали?“ Почему такъ поступалось, изъ опасеній ли найти иной разъ свою аудиторію пустою, или съ цѣлію привлечь студентовъ къ занятіямъ,.

не знаю. Но необходимость намозолить собою глаза профессору создало между нами особый классъ, такъ и называвшихся, *мозольщиковъ* или *пялишниковъ*. Забота ихъ въ томъ только и состояла, чтобы занять, конечно, не на каждой лекціи, а чрезъ извѣстные промежутки, мѣсто на передней скамьѣ, прямо предъ столомъ или кафедрой профессора, смотрѣть ему въ глаза, улыбаться, когда ему вздумается съострить или самому улыбнуться.

Этимъ пялишникамъ не хорошо приходилось у профессора хирургіи, Матюшенкова, который при разговорѣ брызгалъ слюною, такъ что сидящимъ предъ нимъ приходилось часто утираться, имѣя наготовѣ платокъ въ рукахъ. За то экзамены для такихъ сходили благополучно. Вреть, пугаетъ, столба играетъ иной, но получаетъ достаточную для перехода на курсъ отмѣтку. „Мы васъ знаемъ, вы усердно посѣщали наши лекціи“, объясняетъ профессоръ свое снисхожденіе. Поэтому, на такія завидныя мѣста предъ лицомъ профессора всегда были охотники, добывавшіе ихъ нелегко и не безъ издержекъ. Обыкновенно, сторожу при аудиторіи передавалась какая нибудь вещь, чаще книга, для того, чтобы онъ заранѣе клалъ ее на облюбованное мѣсто; безъ платы, конечно не большой, но иногда и поднимаемой конкуренціею, дѣло не обходилось. Студенты свыклись съ такимъ обычаемъ занимать

мѣста, и рѣдко случалось, что кто либо, явившись первымъ въ пустую еще аудиторію, сдвигалъ лежавшія вещи и присвоивалъ занятое ими мѣсто. Въ такихъ случаяхъ возникали споры.

Анатомію читалъ намъ Ив. Матв. Соколовъ, занявшій кафедру знаменитаго Севрука, при которомъ раньше состоялъ прозекторомъ, и прошелъ, по тогдашнему обычаю, суровую школу. Съ Иваномъ Матвѣвичемъ я имѣлъ общихъ знакомыхъ, отъ которыхъ слышалъ кое-что о немъ. Соколовъ, рязанскій, кажется, семинаристъ, пришелъ въ Москву пѣшкомъ и прямо съ дороги, какъ былъ, явился въ университетъ, заявляя желаніе учиться въ немъ. Такое заявленіе было сдѣлано чуть ли не въ засѣданіи университетскаго совѣта, куда Соколову удалось проникнуть, и такъ заинтересовало ректора и профессоровъ, что они, заподозривъ, вѣроятно, въ семинаристѣ новаго Ломоносова, пристроили его къ университету студентомъ.

Поступивъ на медицинскій факультетъ, Иванъ Матвѣвичъ обратилъ вниманіе Севрука отчетливостью своихъ анатомическихъ препаратовъ, помогалъ потомъ прозектору приготовленіемъ ихъ для профессорскихъ лекцій, наконецъ, и самъ сдѣлался сначала прозекторомъ, а потомъ профессоромъ.

Севрукъ, по обычаю московскихъ медицин-

скихъ профессоровъ, пользовавшихся славою или только считавшихъ себя знаменитыми, держаль Соколова въ черномъ тѣлѣ и на лакейской, чернорабочей линіи и былъ ему полезенъ только тѣмъ, что доставилъ каѳедру, сдѣлавъ изъ адъюнкта хорошаго препаратора, но не профессора. Угождая своему патрону препаратами, онъ и на каѳедрѣ остался только прозекторомъ. По выслугѣ двадцатипятилѣтія Иванъ Матвѣевичъ не былъ оставленъ на каѳедрѣ, которую уступилъ другому, вѣроятно, изъ-за исторіи (о которой будетъ сказано ниже) съ живымъ поднѣсь профессоромъ Н., доставившей Соколову много враговъ въ факультетѣ.

Выйдя изъ университета, онъ, живя въ Москвѣ, считался прикомандированнымъ къ военному, медицинскому, вѣдомству, вѣроятно, въ ожиданіи какого либо мѣста, но умеръ, не дождавшись его, отъ хронической болѣзни почекъ.

Удивительно, какъ могъ обзавестись такою болѣзнію Иванъ Матвѣевичъ, человѣкъ атлетическаго сложенія и правильнаго образа жизни. Самъ онъ свою болѣзнь приписывалъ занятіямъ въ анатомическомъ театрѣ, за которыми проводилъ большую часть сутокъ, будучи прозекторомъ. Соколову, когда онъ числился по военному вѣдомству, пришла мысль изслѣдовать на трупѣ огнестрѣльные

поврежденія, производимыя выстрѣлами на различныхъ разстоянїяхъ изъ ружей разныхъ системъ, существовавшихъ въ то время въ европейскихъ арміяхъ. Мысль эта, хотя и одобренная военнымъ начальствомъ, не осуществилась.

Память о Севрукѣ жива была между студентами по преданію отъ товарищей. Рассказываютъ, что онъ преподавалъ свой сухой предметъ увлекательно. Но того же нельзя сказать о его преемникѣ, читавшемъ монотонно и сквозь зубы свои лекціи, состоявшія въ одномъ перечисленіи названій. Лекцій анатоміи, какъ предмета, преподаваемого демонстративно, записывать понятно, нельзя было. Нужно было слушать и внимательно смотрѣть на описываемый профессоромъ предметъ. По этому для повторенія лекцій нужна была книга. Изъ немногихъ русскихъ анатомій въ то время считалась лучшею изданная Кіевскимъ профессоромъ Вальтеромъ, но она стоила дорого, даже и подержанная, такъ какъ по новости изданія мало было въ продажѣ такихъ. Мнѣ, однако, хотя не скоро, но удалось добыть за 5 руб. подержанный экземпляръ въ лавкѣ извѣстнаго Кольчугина на Никольской—благодѣтеля бѣдной учащейся молодежи. Букинистовъ, торгующихъ подержанными учебными книгами, въ то время было мало; но Кольчугинъ

пользовался между ними заслуженною славою у молодежи. Онъ и покупалъ у ней дороже и продавалъ дешевле подержанныя книги, чѣмъ другіе букинисты, и найти у него все было можно: молодежь преимущественно къ Кольчугину тащила ненужныя учебныя книжки, такъ какъ онъ не браковалъ, кажется, никакой, хотя бы съ вырванными листами, замѣняя ихъ писанными. Продажа учебныхъ книгъ велась и въ университетѣ, чрезъ сторожей, вывѣскою записокъ со стороны какъ спроса, тамъ и предложенія. Но такая торговля шла вяло, медленно. Покупатель иногда не желалъ дожидаться случая обзавестись нужною книгою, а продавецъ встрѣчалъ надобность немедленно обратить въ деньги не нужную ему, а иногда и нужную книгу: безъ посредника обойтись было невозможно.

Анатомія Вальтера, купленная мною изъ семирублеваго мѣсячнаго бюджета, была первымъ собственнымъ учебнымъ пособіемъ и казалась капитальнымъ приобрѣтеніемъ, ради котораго легко переносились лишенія. Чувствовался только недостатокъ въ анатомическомъ атласѣ, который не былъ бы мнѣ нуженъ, будь только я хотя немного рисовальщикомъ. При ознакомленіи съ костями, атласъ съ большою пользою могъ быть замѣненъ натурою, скелетомъ, который въ то

время можно было приобрести у служителей при анатомическомъ театрѣ за недорогую цѣну.

Я забылъ упомянуть, что самъ я не любилъ мертвыхъ тѣлъ, почему отчасти и не желалъ быть медикомъ. Теперь же на первой лекціи, намъ былъ предъявленъ обнаженный трупъ, съ обритой головой и весь разрисованный или раздѣленный по, такъ называемымъ, областямъ (*regiones*) тѣла. На каждомъ изъ очерченныхъ черною краскою мѣсть было написано по латыни и ихъ названіе. Объясненія считались, вѣроятно, излишними, и намъ предоставлялось самимъ полюбоваться и запомнить, что и какъ съумѣемъ. Поглазѣвши на невиданное зрѣлище и потолкавшись между собою, мы разошлись, недоумѣвая, что все это значить, тѣмъ болѣе, что весьма многіе не могли понять и латинскихъ надписей на трупѣ. Подходящихъ книжекъ съ рисункомъ топографіи человѣческаго тѣла ни у кого въ рукахъ не оказалось.

Трупъ обнаженный и при томъ какъ бы на выставкѣ, разрисованный, произвелъ на меня не хорошее впечатлѣніе. Это казалось и поруганіемъ и возбуждало пугливое чувство. Такое же впечатлѣніе производили на меня кости вообще и черепъ въ особенности, не говорю уже о вскрытыхъ и искромсан-

ныхъ, какъ куски говядины, трупяхъ. Черепъ, которымъ обзавелся, я не могъ оставить на ночь на столъ, а пряталъ подале, въ шкафъ. Мнѣ приходило на мысль, имѣю ли я право тревожить останки человѣка, употребляя ихъ даже не съ кощунственными цѣлями. Ложа съ спать, я иногда думалъ, что вотъ-вотъ душа, жившая въ этомъ черепѣ, явится ко мнѣ и потребуетъ отчета въ завладѣніи ея собственностію. Впрочемъ, на первомъ курсѣ я еще кое-какъ ладилъ съ мертвечиной и начиналъ какъ будто свыкаться съ нею; но на второмъ, когда пришлось препарировать самому, мнѣ представилось серьезное испытаніе. Послѣ первыхъ же занятій въ секціонномъ залѣ, я потерялъ аппетитъ, а на мясо и смотрѣть не могъ безъ отвращенія. Потерялъ я также и сонъ; отняло его у меня обезображенное лицо съ выпученными глазами удавленника, который мнѣ достался для препаровки. Какъ только ночью закрою глаза, стоитъ это лицо предо мною, и—все тутъ. Какъ быть? Насъ было много, а труповъ мало, бросивъ этотъ, не скоро дождешься другого. Пришлось поэтому, скрѣпя сердце работать надъ противнымъ предметомъ. Но чѣмъ дальше, тѣмъ становилось со мною хуже: появился какой-то скверный суетный страхъ, хоть мѣняй факультетъ. Но мнѣ уже этого не хо-

тѣлось. Годъ былъ бы потерянь, а чрезъ годъ еще можетъ подвернуться стипендія. И я рѣшилъ выбить клинъ клиномъ, поборотъ свое малодушіе слѣдующимъ образомъ.

Вечеромъ однажды, когда смерклось, я, запасшись стеариновымъ огаркомъ и захватя съ собою анатомію Вальтера съ препаровочнымъ наборомъ инструментовъ, отправился въ секціонную залу, далъ сторожу гривенникъ, чтобы онъ принесъ мнѣ мой препаратъ изъ подвала, и при свѣтѣ огарка принялся за работу. Когда сторожъ ушелъ къ себѣ, я остался одинъ въ обширномъ залѣ глазъ-на-глазъ съ моимъ врагомъ, окруженный искромсанными мертвецами и въ обществѣ нѣсколькихъ свѣжихъ труповъ, доставленныхъ въ этотъ день полиціею для вскрытія. Между послѣдними былъ одинъ замерзшій въ полусидячемъ положеніи и съ открытыми глазами, уставленными въ направленіи къ моему столу. Я усѣлся спиною къ этому, какъ-бы съ любопытствомъ смотрѣвшему на меня и своимъ положеніемъ выражавшему намѣреніе обратиться ко мнѣ съ какимъ то вопросомъ, трупу. Глаза своего мертвеца, надъ которымъ работалъ, я закрылъ бумагою, начавши препарировку съ личныхъ мускуловъ. При слабомъ свѣтѣ пятерикового огарка обстановка была фантастическая, и мнѣ становилось жутко, такъ что я инстинктивно ощупывалъ въ карманѣ дру-

гой; послѣдній гривенникъ, въ двухъ мѣдныхъ пятакахъ остававщійся у меня на-завтра для двухъ розанчиковъ къ чаю и на пироги у бабы, торговавшей ими подъ аркой *старого университета*. Въ послѣдніе дни эти два розанчика съ пирогомъ составляли для меня все питаніе, которымъ я угощалъ себя не безъ принужденія, изъ-за страха ослабѣть и заболѣть. Этотъ послѣдній гривенникъ я порывался отдать служителю, что-бы онъ побылъ со мною въ залѣ. Но поступить такъ мнѣ казалось и стыдно предъ солдатомъ-служителемъ, и жалко послѣднихъ грошей, обезпечивавшихъ мнѣ насущный хлѣбъ на-завтра, а главное безцѣльно, бесполезно. Поэтому, превозмогая себя, я принялся за работу и сталъ мало-по-малу забываться въ ней. Вдругъ слышу рѣзкій стукъ, невольно взглядываю по направленію его и вижу, что мерзлый трупъ, очевидно, оттаявъ, упалъ на бокъ и смотритъ на меня оловянными глазами. Пугливо отвернувшись отъ него, я встрѣтился съ страшнымъ взглядомъ моего мертвеца, съ глазъ котораго своимъ рѣзкимъ неожиданнымъ движеніемъ я сронилъ закрывавшую ихъ бумагу, и на меня напалъ панической страхъ. Безъ памяти бросился я вонъ изъ залы, въ чемъ былъ, безъ фуражки и пальто, висѣвшихъ въ передней на вѣшалкѣ, и забылъ объ Анатоміи и объ инструментахъ. Въ рукахъ у меня,

какъ были, такъ и остались въ одной—пинцетъ, въ другой—скальпель. Только на Никитской, вблизи своей квартиры въ домѣ бывшемъ кн. Голицына, я пришелъ въ себя и устыдился. Поспѣшно вернувшись назадъ, я продолжалъ работу, пока не догорѣлъ оставленный мною, не потушенный огарокъ. Сторожь, спавшій въ своей коморкѣ, не замѣтилъ моего отсутствія.

На рѣшимость мою возвратиться осталось не безъ вліянія опасеніе, какъ бы не пропало мое единственное пальто съ фуражкой, безъ которыхъ нельзя ни куда показаться, и Анатомія съ инструментами, которые послѣ завтра могутъ понадобится для розанчиковъ и пирога. Мнѣ пришло на мысль и то, почему же эта пара солдатъ при секціонной залѣ, живущая и ночующая въ сообществѣ мертвецовъ, не боятся ихъ и не испытываетъ отъ нихъ никакого безпокойства. Если мертвецамъ нѣтъ никакой обиды отъ этихъ служителей, торгующихъ ихъ земными останками и обращающихъ ихъ кости, напр., въ шкалики, косушки и полуштофы; то гнѣваться на меня, какъ студента, имъ еще менѣе повода. Папугавшій меня трупъ, оказавшійся оттаявшимъ, я уложилъ въ приличную позу на спину, сложилъ ему руки на груди и закрылъ глаза вѣками. Глаза моего удавленника не казались уже мнѣ страшными, и

на слѣдующій день я выставилъ это зеркало души изъ его рамы, пробуя изслѣдовать строеніе глаза и его мышечный аппаратъ.

Въ эту ночь я спалъ спокойно, отрѣшившись навсегда отъ суевѣрнаго страха предъ мертвецами, но отвращеніе отъ мяса прошло не скоро. Я не думаю, чтобы подобный казусъ случился со мною однимъ. Много изъ поступившихъ вмѣстѣ со мною на факультетъ перешло со второго курса на другіе, и между ними были такіе, которые не хотѣли или не могли преодолѣть отвращенія къ занятіямъ надъ трупами. Все, говорятъ, хорошо, что хорошо кончится; но, въ сущности, изъ-за чего и для чего ломаетъ и мучаетъ себя человѣкъ. Съ первыхъ дней жизни начинаютъ его страхами предъ таинственнымъ, чудеснымъ и сверхъестественнымъ, и затѣмъ въ то, именно, время, когда полный силъ и жизни молодой, развивающійся организмъ юноши относится съ естественнымъ страхомъ и ненавистію къ мысли объ уничтоженіи, смерти, внушается ему и ученіемъ и погребальными обрядами относиться къ останкамъ отжившаго человѣка, какъ къ чему то, требующему особаго почтенія. Естественно, что при такихъ условіяхъ у иного можетъ дрогнуть рука, вонзающая анатомическій скальпель въ трупъ, какъ у другого дрогнетъ она съ занесеннымъ ножомъ на живаго человѣка.

Ботанику читалъ намъ Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ. Онъ слылъ между студентами за большого ученаго, но предметомъ своимъ не интересовалъ никого изъ насъ, да и не могъ заинтересовать, между прочимъ, потому, что преподавалъ его чисто теоретически безъ всякихъ демонстративныхъ пособій. Правда, что студенты приглашались посѣщать университетскій ботаническій садъ для практическихъ занятій, но, во первыхъ, этотъ садъ посѣщать для многихъ было далеко, а во вторыхъ, и это главное, ботаника была второстепеннымъ предметомъ, пользы отъ котораго, при томъ, студенты не сознавали, а профессоръ былъ не притязателенъ къ медикамъ на экзаменахъ. Симпатичный, тихій старичекъ, Ф.—Вальдгеймъ читалъ свой предметъ такъ, какъ бы говорилъ студентамъ: вотъ, господа, я свое дѣло дѣлаю добросовѣстно, а вы слушаете или не слушаете меня, мнѣ все равно. Впрочемъ, говорили, что къ естественникамъ онъ былъ взыскательнѣе, чѣмъ къ медикамъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, что съ насъ взять? Подготовка наша хромала во многихъ отношеніяхъ. Для слушанія медицины слѣдовало намъ явиться съ готовымъ уже знаніемъ ботаники, такъ чтобы университету оставалось только познакомить студента съ тѣмъ, что ему нужно знать какъ будущему медику, а знать изъ нея ему требовалось не мало.

Между тѣмъ, даже съ лекарственными растеніями студентъ изъ лекцій профессора ознакомлялся мало.

Въ этомъ отношеніи врачъ воспитывался, такъ сказать, за спиною фармацевта, оставляя на его обязанность заботиться о томъ, чтобы лекарства изъ растительнаго царства были настоящія, во время собранныя, правильно хранимыя и т. д. Соотвѣтственно этому, и фармакогнозія преподавалась болѣе, чѣмъ не удовлетворительно, такъ что не оказывалось ни одного студента, который умѣлъ бы отличить въ сухомъ видѣ и назвать десятую часть употреблявшихся въ медицинѣ травъ, корней и пр. И это было въ то время, когда почти весь лечебный арсеналь получался изъ растительнаго царства. Забросивъ ботанику, врачи постепенно пришли къ лечебному нигилизму, извѣрившись въ дѣйствительность лекарствъ, которымъ вѣрили и которыми приносили пользу больнымъ ихъ предшественники. Могло произойти это и потому, что въ употребленіе въ аптекахъ стали входить другія разновидности лекарственныхъ растеній, не имѣвшія тѣхъ свойствъ, какъ настоящія, или не въ надлежащее время собранныя, или иначе культивированныя и т. п. Подоспѣвшіе успѣхи химіи окончательно вытѣснили растительныя лекарственныя вещества, замѣнивъ ихъ произведеніями лабора-

торій и продуктами фабрикъ. Ботаника сдѣлалась для врачей, въ ихъ глазахъ, почти ненужною; а жаль! Жаль потому, что это оставляетъ большой и важный пробѣлъ въ ихъ профессиональномъ образованіи, а съ другой стороны, обрекаетъ на гибель народный лечебный опытъ.

Зоологію и сравнительную анатомію читалъ профессоръ Варнекъ, имени его не помню. Это былъ еще молодой человѣкъ съ однимъ вставнымъ фарфоровымъ глазомъ и большими претензіями на остроуміе, не упускавшій случая поглумиться надъ понавшимъ ему на зубы студентомъ, а иногда, на своихъ лекціяхъ, прогуляться огульно и на счетъ всѣхъ своихъ слушателей. Кажется, только съ цѣлю доставить себѣ возможность поострить, онъ и устраивалъ студентамъ репетиціи, изъ которыхъ, какъ и изъ лекцій его, мы ничего не выносили. Мнѣ помнится одна его выходка, обидѣвшая студентовъ. Придя на лекцію, профессоръ объявилъ, что будетъ дѣлать репетицію. За тѣмъ, прищуривъ фарфоровый глазъ, онъ съ ядовитою улыбкою прибавилъ: всѣхъ спросить не успѣю, поэтому, кто съ о, можетъ идти домой. Выходилъ обидный каламбуръ. Для ознакомленія насъ съ жизнію животныхъ, профессоръ выбиралъ изъ послѣднихъ только такихъ, которыя давали ему возможность надъ кѣмъ либо

поглумиться. Такъ, онъ цѣлый часъ, всю лекцію изображалъ предъ нами приемы и манеры медвѣдя, поясняя ихъ такими же русскаго человѣка и стараясь представлять это наглядно.

Назойливымъ и большею частію грубымъ остроуміемъ своимъ пр. Варнекъ оттолкнулъ отъ себя студентовъ и сдѣлался для нихъ ненавистнымъ. Это привело къ скандальному столкновенію профессора съ студентами слѣдовавшаго за нашимъ приема. Я былъ уже на второмъ курсѣ и однажды, работая въ секціонномъ залѣ, рядомъ съ аудиторіей, гдѣ читалъ Варнекъ, услышалъ шумъ и гвалтъ. Оказалось, что студенты, оскорбленные какою-то выходкою профессора выгнали его изъ аудиторіи со скандаломъ и отказались посѣщать его лекціи. Въ исторіи этой принимали участіе, кромѣ медиковъ первыхъ трехъ курсовъ, имѣвшихъ противъ Варнека зубъ, еще и естественники, которымъ профессоръ читалъ тѣже науки и которымъ одинаково насолилъ своими остротами. Помню, что мотивомъ упорства студентовъ не имѣтъ болѣе дѣла съ Варнекомъ выставлялось то, что изъ его лекцій они, при всемъ желаніи своемъ, не могутъ вынести ничего, кромѣ пошлыхъ остротъ и оскорбленій.

Судя по себѣ, я, по крайней мѣрѣ, былъ увѣренъ, что студенты терпѣливо переносили

бы выходки профессора, если бы лекции его хотя что либо полезное давали имъ. Но изъ нихъ ничего невыносилось, кромѣ названія животныхъ, по зоологіи, а по сравнительной анатоміи не получалось и признаковъ науки. Между тѣмъ, студенты инстинктивно, пожалуй, понимали, что сравнительная анатомія имъ нужна при параллельномъ изученіи анатоміи человѣка, въ которой каждый изъ насъ видѣлъ основаніе для своего спеціальнаго образованія.

Каюсь, что въ начавшихся по поводу варнековской исторіи сходкахъ принималъ участіе и я, выступивъ однажды въ качествѣ оратора. Взобравшись на садовый столикъ, въ садикѣ стараго университета, я предъ обступившими меня товарищами развивалъ мысль о необходимости для медика знакомства съ сравнительною анатоміей и о провинности профессора предъ нами, студентами. На наше сборище явился субъ-инспекторъ Романовскій и издали приглашалъ меня прекратить мое ораторство, а всѣхъ насъ разойтись; но увлекшись я и не думалъ исполнить это законное требованіе. Тогда субъ-инспекторъ, протискавшись сквозь толпу, стащилъ меня съ трибуны за ногу, чѣмъ и окончилось мое ораторство при общемъ смѣхѣ, въ которомъ принялъ участіе и самъ я съ Романовскимъ. Варнека, однако, удалили, и

мнѣ кажется, что за этотъ студенческій бунтъ никто не пострадалъ, кромѣ самого профессора. Почему? Время ли такое снисходительное было къ молодежи, или уже и вверху сознавали недостатки нашего обученія и потому не хотѣли карать насъ за чужую вину? Дѣйствительно, уже по многимъ кафедрамъ факультета готовились за границей преемники устарѣвшимъ, если не лѣтцами, то научной подготовкой, нашимъ преподавателямъ. Ожидались изъ—за границы на кафедру физиологіи—Эйнбродтъ, для клиники Захарынъ, для патологической анатоміи Клейнъ и др. Въ самой административной средѣ возникли новыя вѣянія, разгонявшія назимовскій туманъ и запахъ. Правда, инспекторъ студентовъ полковникъ Ильинскій (если не ошибаюсь) еще преслѣдовалъ незастегнутыя пуговицы, отсутствіе галстуховъ и бѣлыя (лѣтомъ) фуражки и воротнички у студентовъ, но дальше замѣчаній, и при томъ вѣжливо дѣлаемыхъ, это не заходило. Вскорѣ, впрочемъ, отмѣнена была и совсѣмъ студенческая форма. Что касается субъ-инспекторовъ, то, какъ гражданскія лица, они и съ этой стороны не усвоили или не сохранили, вѣроятно, служебной ревности и вообще ни чѣмъ насъ не беспокоили, рѣдко заглядывая только въ аудиторіи. Меня удивляло тогда въ мирной средѣ университетской кор-

пораціи, одѣтой въ форменные фраки, присутствіе военнаго мундира, который носиль инспекторъ. Зачѣмъ это, думалось мнѣ, для внушительности что ли? Или мундирный фракъ не способенъ вселять въ студента надлежащаго страха и повинованія? Какъ бы тамъ ни было, впрочемъ, присутствіе военнаго мундира съ звѣнящими шпорами и гремящей саблей производило свой эффектъ въ средѣ профессорскихъ фраковъ, вѣроятно, похожій на тотъ, который производилъ въ свое время въ засѣданіяхъ синода полковничій мундиръ графа Протасова. Въ присутствіи оружія человекъ дѣлается осмотрительнѣе и, пожалуй, благоразумнѣе.

Попечителемъ учебнаго округа былъ въ то время Бахметевъ. Онъ былъ доступенъ для студентовъ, принималъ ихъ депутаціи, терпѣливо ихъ выслушивалъ и во многомъ снисходилъ. По личному ли характеру онъ велъ себя такъ со студентами или имѣлъ по этому предмету указанія свыше, я не знаю: говорить съ нимъ мнѣ не приходилось, да и видѣлъ его я только одинъ разъ, такъ что и фізіономіи не помню. Нужно полагать, что варнековская исторія прошла благополучно для студентовъ благодаря, между прочимъ, тому, что студенты имѣли возможность выяснить предъ попечителемъ ея дѣйствительныя причины. Я помню, что самое горячее уча-

стіе въ нашихъ студенческихъ дѣлахъ принималъ одинъ изъ товарищей, Заіончковскій, смѣло бравшій на себя делегатство къ попечителю. Помнится, что въ послѣдствіи онъ чѣмъ-то поплатился за свою смѣлость.

Если профессоръ Варнекъ не могъ или не желалъ намъ, медикамъ, дать ничего полезнаго по своимъ наукамъ, то отъ профессора *Щуровскаго*, читавшаго намъ минералогію, мы ничего и требовать не могли. Какъ ему, не врачу, было знать, что намъ нужно въ его наукѣ? Поэтому онъ и преподавалъ ее, какъ институткамъ, въ элементарной формѣ: всѣ лекціи по минералогіи умѣщались на четырехъ писанныхъ листахъ и развѣ только напоминали намъ объ имени и существованіи науки, не научивши распознать кварца отъ шпата. Правда, что лекціи читались намъ въ минералогической аудиторіи, гдѣ въ витринахъ хранились минералы, но знакомство съ ними для насъ ограничивалось созерцаніемъ издали тѣхъ, о которыхъ повѣствовывалъ профессоръ съ кафедры, держа въ рукахъ. Потомъ они путешествовали, передаваемые профессоромъ, и по рукамъ студентовъ, но къ большинству ихъ попадали уже тогда, когда за послѣдовавшимъ чтеніемъ о другихъ забывалось или перемѣшивалось названіе первыхъ. Беря у сосѣда минералъ, спросишь, бывало: какъ названіе? „А чортъ

его знаетъ“. Такой отвѣтъ, по крайней мѣрѣ, не вводилъ въ ошибку. Очевидно, наука эта значилась въ программѣ факультета для полноты естествовѣденія, признаннаго необходимымъ для врача; въ дѣйствительности же считалась ни на что для него не нужною. Такъ какъ микроскопическая анатомія намъ не читалась, то и кристаллографія даже ни на что не годилась.

За то впоследствии приходилось не мало жалѣть о незнакомствѣ съ геологіей. Для врача, повторяю свое убѣжденіе, нѣтъ науки лишней, такой, которая ему не пригодилась бы, мало того, знаніе которой не потребовалось бы отъ него въ профессиональномъ дѣлѣ. Гигіена, о которой въ наше время и слышно не было, не мыслима безъ основательнаго знанія всѣхъ естественныхъ наукъ. Какъ же толковать о гигиенѣ человѣка, не имѣя понятія о составѣ и строеніи планеты, на которой онъ живетъ. Отъ того-то, когда возникъ спросъ на эту науку и на ея приложеніе къ жизни, русскіе врачи и оказались застигнутыми върасплохъ. Первымъ пришлось наткнуться на гигиену военнымъ врачамъ *), отъ которыхъ потребовалось, между прочимъ, составленіе топографіи мѣстностей расквартированія войскъ, въ интересахъ здоровья послѣднихъ. Пришлось, поэтому, узнать,

*) Авторъ самъ военный врачъ.

что есть наука, называемая геологіей, пришлось вспомнить и о минералогіи. Но доучиваться приходилось слишкомъ многому, почему и результатъ доучиванія оказывался не важнымъ, тѣмъ болѣе, что и средствъ для этого, даже при желаніи, не хватало у военнаго врача. Впрочемъ, что касается геологіи, то она въ настоящее время явилась обязательнымъ предметомъ для студентовъ военно-медицинской академіи; тоже ли и въ университетахъ, не знаю.

Физику читалъ профессоръ Спасскій—высокій и худощавый субъектъ, казавшійся еще выше отъ контраста съ его маленькимъ лаборантомъ, Мазингомъ, присутствовавшимъ на кафедрѣ при физическихъ опытахъ, до которыхъ профессоръ былъ, какъ говорится, охотникъ смертный, но съ горькою участью. Опыты эти большею частію компрометировались какою либо неожиданною неудачею, что собственно и потѣшало студентовъ, называвшихъ почему-то профессора Фаустомъ, а его ассистента—Мефистофелемъ. Эти клички достались намъ отъ нашихъ предшественниковъ.

Физика читалась безъ математическихъ доказательствъ, а о приложеніи ея къ изученію физиологіи и не упоминалось. Въ то время господствованія въ этой наукѣ у насъ *жизненной* силы, о медицинской физикѣ, какъ особой наукѣ, явившейся въ послѣднее вре-

мя, и не подозрѣвали. Правда, что строго математическія доказательства въ физикѣ были для многихъ и весьма, пожалуй, многихъ изъ насъ въ то время не по силамъ. Но не хотѣлось инымъ изъ насъ удовлетворяться физическими, ребяческими, фокусами, а потому приходилось *потѣть* надъ единственною, доступною тогда бѣднымъ студентамъ, физикою Ленца, въ русскомъ переводѣ. Профессоръ могъ бы уменьшить для насъ это бесполезное, излишнее потѣніе. Между тѣмъ профессоръ Спасскій, о которомъ студенты слышали, какъ о страстномъ, если и не умѣломъ, игрокѣ на билліардѣ, болѣе половины курса держалъ насъ на *упругости* тѣлъ, къ которой и приурочивалъ свои плохо удававшіеся опыты. Впрочемъ профессоръ, можетъ быть, думалъ, что готовитъ не медиковъ, а трактирныхъ маркеровъ. Онъ, пожалуй, и могъ быть правъ, въ инстинктивномъ предвѣдѣніи, что русскому врачу впослѣдствіи, за переполненіемъ сословія, придется жить самыми разнообразными художествами.

Самый чувствительный пробѣлъ въ преподаваніи намъ физики состоялъ въ поверхностномъ, институтскомъ, разсмотрѣніи электричества и магнетизма. Оно казалось и не нужнымъ, потому что ни объ электродіагностикѣ, ни объ электротерапіи ни одинъ изъ профессоровъ во все время университетскаго курса намъ и

не заикался. Между тѣмъ въ то время, въ заграничной медицинѣ, электричество получило уже широкое примѣненіе. У насъ первый ввелъ его, въ московскомъ университетѣ, профессоръ Захарьинъ, тогда еще адъюнктъ Овера, а первую книгу на русскомъ языкѣ объ этомъ примѣненіи былъ переводъ сочиненія Цимсена, изданный, скажу между прочимъ, гомеопатами и продававшійся въ гомеопатической аптекѣ на Петровкѣ. Я это помню хорошо потому, что почти одновременно, не безъ тяжелыхъ лишеній, приобрѣлъ для себя какъ эту книгу, такъ и индуктивный аппаратъ Румкорфа и микроскопъ Гартнака. Это случилось со мною уже по окончаніи курса, слѣдовательно, когда кончалась наша учебная комедія.

Второй курсъ, на который я перевалилъ благополучно, былъ не обилень предметами, но за то знакомствомъ съ ними закладывался, такъ сказать, фундаментъ спеціальнаго, врачебнаго, образованія. Безъ практической анатоміи, физиологіи и химіи нельзя быть врачомъ. Но ознакомленію съ анатоміей мѣшала недостатокъ матеріала для практическихъ занятій ею. Насъ, какъ я говорилъ, поступило на первый курсъ болѣе четырехъ сотенъ человѣкъ, на второмъ оказалось не много менѣе. Для такой массы студентовъ, гдѣ было взять труповъ? Да если бы они и нашлись, нехва-

тило бы мѣста намъ для одновременнаго занятія и въ обширномъ секціонномъ залѣ. Трупы для практическихъ занятій студентовъ доставлялись главнымъ образомъ изъ московскаго военнаго госпиталя, можетъ быть, по привычкѣ, оставшейся отъ того времени, когда существовало въ Москвѣ отдѣленіе медицинской академіи, заботившееся болѣе всего о врачахъ для арміи. Съ присоединеніемъ этого отдѣленія къ университету, въ видѣ особаго факультета, солдатскіе трупы продолжали поставляться оттуда по тѣмъ, вѣроятно, соображеніямъ, что умершій ранѣе выслуги положеннаго срока солдатъ обязанъ былъ возмѣстить это службою наукѣ, подобно тому, какъ недополучившій присужденныхъ ему шпиритеновъ, долженъ былъ дополучить ихъ и послѣ своей смерти. Существовало ли распоряженіе о томъ, чтобы трупы доставлялись въ университетъ изъ госпиталя, этого я не знаю. Но такое снабженіе могло продолжаться и безъ особаго распоряженія въ видахъ экономіи отъ погребенія, которая могла оставаться въ карманахъ госпитальной администраціи.

Въ это время, когда лично для меня, во имя штудирваемой мною науки, потребовавшіеся трупы заставили позабыть усвоенную прежнимъ моимъ воспитаніемъ мысль, что настрадавшемуся при жизни тѣлу человѣка нуженъ

покой хотя по смерти, и когда я увѣровалъ въ слова тургеневскаго Базарова, что *мертвымъ тѣломъ, хоть заборъ подпирай*, я былъ недоволенъ недостаткомъ въ трупахъ для занятій анатоміей студентовъ. Но потомъ и вскорѣ, вернувшись къ прежнимъ понятіямъ о правѣ человѣка—христіанина, по крайней мѣрѣ, на обычное христіанское погребеніе его тѣла, я, каюсь въ этомъ, помѣшалъ Ив. М. Соколову, (объ его проэктѣ я говорилъ выше), таскать трупы солдатъ на Ходынское поле для разстрѣла солдатами же ради праздноя забавы, величающей себя *научною*.

Благодаря *научнымъ опытамъ* этого рода, врачъ будетъ заблаговременно подготавливаться къ лѣченію ранъ, получаемыхъ на войнѣ, военная администрація получить данныя для расчета о количествѣ и качествѣ врачебнаго персонала и лечебныхъ средствъ, военачальникъ и вообще офицеръ сдѣлаютъ соотвѣтственное приспособленіе въ своей тактикѣ. Какъ бы, впрочемъ, тамъ ни было, безъ военнаго госпиталя намъ не надъ чѣмъ было бы и работать. Были, конечно, умирающіе и въ клиникахъ, но покойниковъ или отбирали оттуда родственники для погребенія или сами клиники пользовались ими для преподаванія хирургіи. Доставляемые полиціей, трупы насильственно или скоростижно умершихъ для судебного вскрытія ихъ, также рѣдко

оставались для студентовъ: однихъ покойниковъ тоже забирали родные для погребенія, а другіе могли потребоваться въ послѣдствіи для вторичнаго судебного изслѣдованія, по чему также погребались. По недостатку матеріала, надъ однимъ препаратомъ приходилось работать вдвоемъ или втроемъ. Такъ и тотъ удавленникъ, о которомъ я говорилъ выше; достался мнѣ въ компаніи съ двумя товарищами, но одинъ изъ нихъ манкировалъ дѣломъ, собираясь уйти съ факультета, а другой заболѣлъ, почему мнѣ и пришлось обдерживаться около него одному.

Компанейская, совмѣстная работа была и повадиѣе, замѣняя отчасти помощь прозектора, который былъ въ единственномъ числѣ, а потому и не могъ выполнить обязанности руководителя для всѣхъ насъ. Въ числѣ компаніоновъ могъ попадаться дорогой и желанный тѣмъ, что обладалъ собственнымъ анатомическимъ атласомъ, безъ котораго было трудно работать. Къ чужой компаніи, владѣющей атласомъ, не набѣгаешься за справками и поглядѣньемъ, да не особенно любезно и встрѣчалась эта докучливость, иногда дѣйствительно мѣшавшая другимъ въ работѣ. Любопытно, однако, то, что студенты, охотно дѣлившіеся съ товарищами профессорскими тетрадками, были весьма скупы (для незнакомыхъ) на печатныя руководства. Это можно объяснить

только тѣмъ, что и чужой, незнакомый студентъ, бывшій у товарищей на счету *занимающихся*, списывая тетрадки, замѣтитъ и исправитъ въ нихъ возможные ошибки, а участвуя чтеніемъ или слушаніемъ профессорскихъ лекцій, при компанейскомъ приготовленіи къ экзаменамъ, могъ платить за это какимъ либо указаніемъ или разъясненіемъ. Печатное руководство не подвергалось подозрѣнію въ своей правильности и, какъ могущее дать только лишнее противу профессорскихъ лекцій, ревниво, въ качествѣ собственности, оберегалось отъ посторонняго. Русскій человѣкъ—*себѣ на умъ* сказывался и въ студентѣ.

Себѣ-на-умѣ были и сторожа при анатомическомъ театрѣ, ухитрявшіеся добывать откуда-то даже цѣлые трупы для продажи, конечно, по заказу. Въ заказчикахъ недостатка не было между желающими узнать что либо болѣе того, что можно было на одномъ-двухъ даровыхъ, казенныхъ препаратахъ. Цѣлые трупы или части ихъ покупались въ складчину и также, какъ книги и пр., оберегались отъ непайщиковъ. Если еще можно было пристроиться иногда къ чужому казенному препарату для работы, то къ покупному ни въ какомъ случаѣ. Первый подлежалъ сдачѣ предъ профессоромъ въ видѣ урока, за который ставился баллъ, почему чужая помощь могла приносить пользу. Но купленный для препаровки

матеріаль обрабатывался студентами на себя, такъ сказать, по обдуманному напередъ плану, почему посторонній могъ мѣшать, а пожалуй и портить. И вотъ придешь, бывало, въ препаровочную въ надеждѣ что-либо подсмотреть, къ кому-либо присусѣдиться, и шатаешься между столами, за которыми работаютъ студенты. Но случилось, что отъ одного прогнать, у другого поругаешься и уйдешь съ досады въ новый университетъ слушать чью либо лекцію. Уже въ мое время вздумали возмѣщать недостатокъ матеріала для практическихъ занятій анатоміей рисунками въ натуральную величину, сдѣланными съ препаратовъ красками. Надъ этими рисунками работалъ очень порядочный живописецъ, и они выгляждѣли очень живо и отчетливо.

Если практическая анатомія еще кое-какъ шла, то *физиологія* была изъ рукъ вонъ плоха. Извѣстный *Глѣбовъ*, читавшій эту науку въ Московскомъ университетѣ, былъ взятъ для чего-то въ Петербургъ въ медико-хирургическую академію. О немъ студентами старшихъ курсовъ рассказывалось много, но опредѣленнаго выяснялось только то, что *Глѣбовъ* въ физиологіи былъ рафинированный *Филомафитскій*, а по характеру своему и отношеніямъ къ студентамъ — злая. . . . Студенты нимало не жалѣли о профессорѣ, пользовавшемся славою ученаго между своими коллегами

и удостоившемся почетнаго приглашенія занять кафедрѣ въ академіи; должно быть, ученость его была или недоступна или бесполезна для студентовъ, желавшихъ отъ фізіологіи положительныхъ знаній, а не туманныхъ теорій. Кафедра Глѣбова въ Москвѣ была свободна, потому что готовившійся къ ней Эйнбродтъ еще доучивался за границей; поэтому временно читалъ фізіологію тотъ же Ив. Матвѣевичъ *Соколовъ*, взявшійся за это вынужденно, потому что охотниковъ въ составѣ факультета не нашлось. По тогдашнимъ понятіямъ о фізіологіи и профессорамъ казалось, что для преподавателя анатоміи фізіологія такъ-себѣ маленькій пустячокъ, и онъ былъ припиленъ факультетомъ Соколову.

Только этимъ обстоятельствомъ и могло извиняться его чтеніе фізіологіи. Было же оно вотъ въ какомъ родѣ. Не имѣя никакого руководства (книги) по фізіологіи, я принялся записывать лекціи Соколова. Начались они съ пищеваренія. Записалъ первую лекцію, — умѣстилась на двухъ страничкахъ въ четвертку. Записываю вторую, и чувствую что-то уже знакомое, — такія же двѣ странички. Дома свѣряю обѣ лекціи, и онѣ оказываются слово въ слово обѣ. Первая: пища размельчается во рту зубами, орошается слюною, за тѣмъ чрезъ пищеводъ переходитъ въ желудокъ и тамъ и т. д. Вторая: пища, размельченная

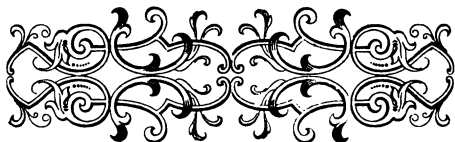
зубами и орошенная слюною, попавши чрезъ пищеводъ въ желудокъ, гдѣ получила такія-то измѣненія и пр. Третья опять начинается со рта и доводится до противоположнаго конца. Вотъ и вся фізіологія пищеваренія! Записывать я пересталь, пересталь ходить и на лекціи. Пришлось купить фізіологію Филомафитскаго, которую Соколовъ рекомендовалъ. Къ счастью моему, она была дешева, такъ что на сколоченныя мною для нея гроши, пристегнулась еще книжка по фізіологіи, отыскавшаяся у Кольчугина, тоже какое-то старье, кажется, Валентина. Впрочемъ, профессоръ не заставилъ насъ вѣрить ему на слово относительно открытія Гарвея и показалъ кровообращеніе подъ микроскопомъ на лапкѣ лягушки. Послѣ, когда я былъ уже на четвертомъ курсѣ, пріѣхалъ Эйнбродтъ и сталъ читать фізіологію соединеннымъ второму и третьему курсамъ. Я посѣщаль его лекціи и изъ нихъ узналъ, что это за наука. Къ сожалѣнію, этотъ профессоръ, страдавшій чахоткою, скоро умеръ.

Съ химіей было не много лучше. Читаль ее *Генр. Антон. Гивартовскій*, еврей съ типической фізіономіей. О немъ говорили, какъ о человѣкѣ, съ химіей знакомомъ, но гораздо ниже ставили, чѣмъ его товарища, проф. Ляковского, читавшаго этотъ предметъ естественникамъ. Гивартовскій управлялъ какимъ-

то техническимъ или химическимъ заводомъ своего родственника, или однофамильца. Изъ лекцій этого профессора можно было усвоить элементарные свѣдѣнія по неорганической химіи, но опыты его, какъ и у физика Спаскаго, часто хромали и тѣмъ веселили слушателей. Говорить онъ бывало: приливаемъ растворъ того-то къ раствору того-то и получаемъ осадокъ такого-то цвѣта. Осадокъ получается совсѣмъ другого цвѣта, потомъ мѣняетъ его, переходя чрезъ разные оттѣнки. Профессоръ поправляется: желтоватый, синеватый, ну-да, какъ я и сказалъ, чижикинокинареечный. Этотъ чижикинокинареечный цвѣтъ не рѣдко слышался отъ Гивартовскаго; у него онъ, кажется, былъ любимымъ.

Съ органической химіей было уже совсѣмъ плохо. Профессоръ, повидимому, не твердо помнилъ и самыя названія тѣлъ и соединеній; по крайней мѣрѣ, онъ выписывалъ ихъ на особыя записочки, по которымъ быстро, не переводя духу, перечислялъ десятокъ-другой названій, напр., кислотъ одного ряда, не останавливаясь на ихъ составѣ и происхожденіи. Но мы за этимъ и не гнались. Спасибо профессору за то, что утилизировалъ преподаваніе химіи хотя для элементарныхъ потребностей врача. Благодаря Гивартовскому, мы знали по крайней мѣрѣ, какъ изслѣдовать разныя отдѣленія и выдѣленія тѣла,

о чемъ профессоръ терапіи говорить намъ на своихъ лекціяхъ не находилъ нужнымъ. У меня долго хранилось составленное Г—мъ печатное наставленіе по этому предмету, раздаваемое имъ студентамъ даромъ.



О НАРОДАХЪ РОССІИ

подъ редакціей Н. Н. Харузина.

Для ознакомленія народа и дѣтей съ бытомъ народовъ, засѣляющихъ родную намъ Россію, Обществомъ приступлено къ изданію цѣлой серіи дешевыхъ книжекъ подъ общимъ названіемъ

„НАРОДЫ РОССІИ“.

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ:

Остяки. Соч. Д. Турскаго, цѣна 6 к.

Якуты. Соч. Б. Сергѣева, цѣна 3 к.

Вотяки. Соч. В. Х., цѣна 5 к.

Осетины. Соч. Н. Ж., цѣна 6 к.

Готовятся къ печати:

Самоѣды.

Лопари.

Мордва.

Черемисы.

Финляндцы.

Эсты.

Чуваши.

Башкиры.

Киргизы.

Туркмены.

Буряты.

Калмыки.

Тунгусы.

Гиляки.

Армяне.

Грузины.

Крымск. татары.

Алгайск. инород.

Русск. крестьяне

на Сѣверѣ.

О РИМСКОМЪ
КАТОЛИЦИЗМѢ
И ОТНОШЕНІЯХЪ ЕГО
КЪ ПРАВОСЛАВІЮ.

Соч. свящ. А. И. Иванова-Платонова
въ 2 част.; ц. 1 р. 90 к.

СОДЕРЖАНІЕ:

ЧАСТЬ I-я. Очеркъ исторіи, вѣроученія, богослуженія, внутренняго устройства римско-католической церкви и ея отношеній къ православному востоку.

ЧАСТЬ II-я. Очеркъ исторіи папства и разсмотрѣніе римскаго чтенія о папской власти.

ИЗДАНИЯ

ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХЪ КНИГЪ:

КНИГИ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО СОДЕРЖАНІЯ.

Преподобный Сергій и Троицкая Лавра	ц.	5	к.
Афонская гора.	»	5	»
Путешествіе въ Палестину.	»	5	»
Соловецкій Монастырь	»	5	»
Колоцкій Монастырь	»	5	»
Свв. Борисъ и Глѣбъ.	»	5	»
Князь Михаилъ Черниговскій	»	5	»
Филиппъ митрополитъ.	»	5	»
Св. Филаретъ Милостивый	»	5	»
Марія Египетская.	»	5	»
Алексій Божій человекъ	»	5	»
Благочестивыя мысли и наставленія	»	5	»
Краткій духов. алфавитъ	»	5	»
Нѣсколько словъ о нищихъ	»	5	»
Патріархъ Гермогенъ	»	10	»
Житіе св. Климента Величскаго	»	10	»
Первомученикъ Архидіаконъ Стефанъ.	»	20	»
Начало и крещеніе Руси.	»	20	»
Князь Владиміръ Святой	»	25	»
Святая Земля, съ картинами	»	25	»
Троицкая Лавра	»	25	»
Очерки Русской Церкви, Ладыженской.	»	80	»
Цари израильскіе	ц.	1	р.
Священ. исторія ветх. завѣта, съ картинами	»	1	»
Воскресн. рассказы. Чтеніе для народа и дѣтей	»	1	»



БОРОДИНСКАЯ БИТВА

Разказъ изъ русской исторіи, сост. *Е. Тихомировымъ*. Изд. 3-е.

Цѣна 10 к.

Учен. Комит. Министр. Народ. Просвѣщ. ОДОБРЕНА для город. и сельск. училищъ, для ученич. библіот. младш. классовъ средн. учебн. завед., мужск. и женскихъ, а равно включена въ каталогъ бесплатн. народн. читальнѣ.

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВЪ І-й.

Ц. 10 к.

ДОПУЩЕНО Учен. Комит. Министр. Народ. Просвѣщ. въ учен. библіот. народ. училищъ.

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМІРЪ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ.

Разказъ изъ русской исторіи, сост. *Ю. Некрасовымъ*, съ картин.

Ц. 5 к.

ИЗВСКАЯ БИТВА

И

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ.

ИСТОРИЧ. ОЧЕРКЪ

СЕРГѢЯ КРОТКОВА.

Цѣна 10 к.

ДОПУЩЕНА Учен. Комит. Минист. Народ. Просвѣщ. въ учен.
библ. народ. училищъ.

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА.

ИСТОРИЧ. ОЧЕРКЪ.

Сост. Е. Тихомировымъ.

Цѣна 10 коп.

Учен. Комит. Минист. Народ. Просвѣщ. ОДОБРЕНА для биб-
ліотекъ начальн. сельск. училищъ и для город. училищъ,
а также для публич. народ. чтеній (1880 г.), ДОПУЩЕНА для
городскихъ и сельск. училищъ (1892 г.).

Включена въ каталогъ Минист. Народ. Просвѣщ.

Наша отечественная война 1812 года.

Соч. А. Архангельской 2-я. Ц. 10 к.

Учен. Ком. Минист. Народ. Просвѣщ. ДОПУЩЕНА въ учениче-
скія библіотеки народ. училищъ (1892 г.)

ИВАНЪ СУСАНДИНЪ,

КАКЪ ОНЪ ПОЛОЖИЛЪ ЖИЗНЬ за ЦАРЯ.

Сост. В. Дорогобужиновъ.

Изд. 6-е. Ц. 10 коп.

Учен. Комит. Минист. Народ. Просвѣщ. РАЗРѢШЕНА для библиотечекъ начальн. народ. училищъ (1873 г.).

Включена въ каталогъ Минист. Народ. Просвѣщ.

Мининъ и Пожарскій,

или освобожденіе Москвы отъ поляковъ
въ 1613 году.

Разсказъ изъ русской исторіи.

Сост. Е. Тихомірова.

Изд. 3-е. Ц. 20 к.

Учен. Комит. Минист. Народ. Просвѣщ. ДОПУЩЕНА для город. и сельск. училищъ (1892 г.).

Включена въ каталогъ Минист. Народ. Просвѣщ.

ВЕРБА.

Соч. А. Сивовой. Ц. 5 к.

ДОПУЩЕНО Учен. Комит. Минист. Народ. Просвѣщ. въ учен. библиот. низшихъ училищъ.

ДОБРЫЙ БОЯРИНЪ

СТАРАГО ВРЕМЕНИ.

Историч. карт XVII вѣка. *А. Сизовой*. Ц. 12 коп.

ВЕЛИКІЙ

ПЕЧАЛЬНИКЪ РУССКОЙ ЗЕМЛИ

СВ. ФИЛИППЪ

МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ.

Ист. разсказъ *А. Сизовой*. Ц. 10 коп.

ИЗБРАНІЕ

Михаила Θεодоровича Романова

НА ЦАРСТВО.

Соч. *Н. М. Дементьева*. Цѣна 10 коп.

ПОЛТАВСКІЙ БОЙ.

Историч. очеркъ. *Е. Тихомирова.*

Изд. 3-е. Ц. 10 коп.

Учен. Комит. Минист. Народ. Просвѣщ. ДОПУЩЕНО для
город. и сельск. училищъ (1892 г.).

ЕРМАКЪ ТИМОФЬЕВИЧЪ, ПОКОРИТЕЛЬ СИБИРИ.

Разсказъ изъ русской исторіи.

Составлено Е. Тихомировымъ.

Ц. 10 коп.

ГРАФИНЯ

Екатерина Ивановна

ГОЛОВКИНА.

Цѣна 15 коп.

ДЪЛАТЕЛИ ЗОЛОТА.

ПОВѢСТЬ ЦШОККЕ.

ЦѢна 25 к.

Учен. Комит. Минист. Народ. Просвѣщ. ОДСБРЕНА въ библиот.
народ. училищъ (2-е изд.).

Включена въ каталогъ Минист. Народ. Просвѣщ.

КРОШКА МАМА.

РАЗСКАЗЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ

Г-ЖИ ПРЕСАНСЕ.

ЦѢна 75 к.

БРАТЬ И СЕСТРА

ПОВѢСТЬ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.

ЦѢна 60 коп.

Опытъ популярнаго изложенія
содержанія драматическихъ
произведеній Шекспира, съ
характеристикой дѣй-
ствующихъ лицъ.

СОСТАВЛЕНО
Н. КОЖЕВНИКОВОЙ.

ТРАГЕДИИ:

- 1) Ромео
и Джульетта,
- 2) Гамлетъ, 3) Мак-
бетъ, 4) Король Лиръ,
- 5) Отелло, 6) Корю-
ланъ, 7) Юлій Цезарь,
- 8) Антоній и Клеопатра.

Съ 9 фототипіями, исполненными въ фото-
графіи Стго Ренаръ.

Цѣна 1 р. 75 коп.

ИЗДАНИЯ

Общества распространения полезных книг.

ДЛЯ ДѢТЕЙ.

Азбука—картинки. ц. 1 р. —	Маленькій ветошникъ.. ц. 5 к.
Басни—картинки . „ 1 „ —	Три золотыхъ. „ 5 „
На пользу и забаву. „ 1 „ —	Маша „ 5 „
Крошка-мама. ц. 75 к.	Новая мама „ 5 „
Загадки, ребусы, шарад. „ 50 „	Старый дворецкій. „ 5 „
Званный вечеръ у Мими. „ 35 „	Свѣтъ не безъ добрыхъ
Мишуткинъ сонъ „ 35 „	людей „ 5 „
Начальное чтеніе. „ 80 „	Любовь дочери „ 5 „
Двѣ были и небылицы. „ 30 „	Материнская любовь. „ 5 „
Книжка для чтенія „ 10 „	Ангель. „ 5 „
Добрая жена, сказка. „ 5 „	Знамя. „ 5 „
Гадкій утенокъ, сказка. „ 5 „	Фазанъ. „ 5 „
Три медвѣдя, сказка. „ 5 „	Свѣгъ. „ 5 „
Русалочка, сказка. „ 5 „	Два пугача. „ 5 „
Чудесная коряга, татар-	Живъ ли онъ? „ 5 „
ская сказка. „ 5 „	Любовь къ животнымъ. „ 5 „
Сказка о царевнѣ лягуш. „ 5 „	Маленькій садовникъ. „ 5 „
Сказка о царевич. Февеѣ. „ 5 „	Сельская школа. „ 5 „
Петруша, сказка „ 5 „	Училище и семья. „ 5 „
Лилли или рубиновый	Русскія народныя раз-
крестикъ. „ 5 „	сказки. „ 5 „
Трость моего дѣдушки. „ 5 „	Внучка. „ 1 „

ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.

Пчелка, сборн. ц. 1 р. 75 к.	Герой ц. 50 к.
Пчелка, сборн. „ 1 „ 60 „	Дѣлатели золота „ 25 „
На досугъ. „ 1 „ 60 „	Ноч. сторожъ Халфданъ. „ 15 „
Братъ и сестра. „ 60 „	



ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ ПОЛЕЗНЫХЪ КНИГЪ.

 БІОГРАФІИ.

Г. Р. Державинъ	ц.	10	к.
И. А. Крыловъ	”	10	”
Н. М. Карамзинъ	”	10	”
В. А. Жуковскій	”	10	”
А. С. Пушкинъ	”	20	”
И. И. Лажечниковъ	”	15	”
Мех.-самоучка Кулибинъ	”	5	”
Иконописецъ Ступинъ	”	5	”
Христофоръ Колумбъ	”	10	”
Гайденъ	”	10	”
Паганини	”	15	”
Франклинъ	”	10	”
Давидъ Ливингстонъ	”	10	”
Георгъ Стифенсонъ	”	10	”
Гуттенбергъ	”	15	”
Джонъ Говардъ	”	25	”
Даміанъ Вестеръ	”	10	”
Докторъ Дженнеръ	”	20	”

ИЗДАНИЯ

476557/24
108

СЕРИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПОСОЛСТВО

AUG 21 1985
OCT 10 1995

APR 3 1997
MAY 15 1997

В
Д
М
Р
В
М
П
Н
К
В
Н
Х
Д
Н
И
Б

Т
Р
В
С
М

К
д
л

К.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

К.
"
"
"
"

DATE DUE

MICHIGAN

15 au